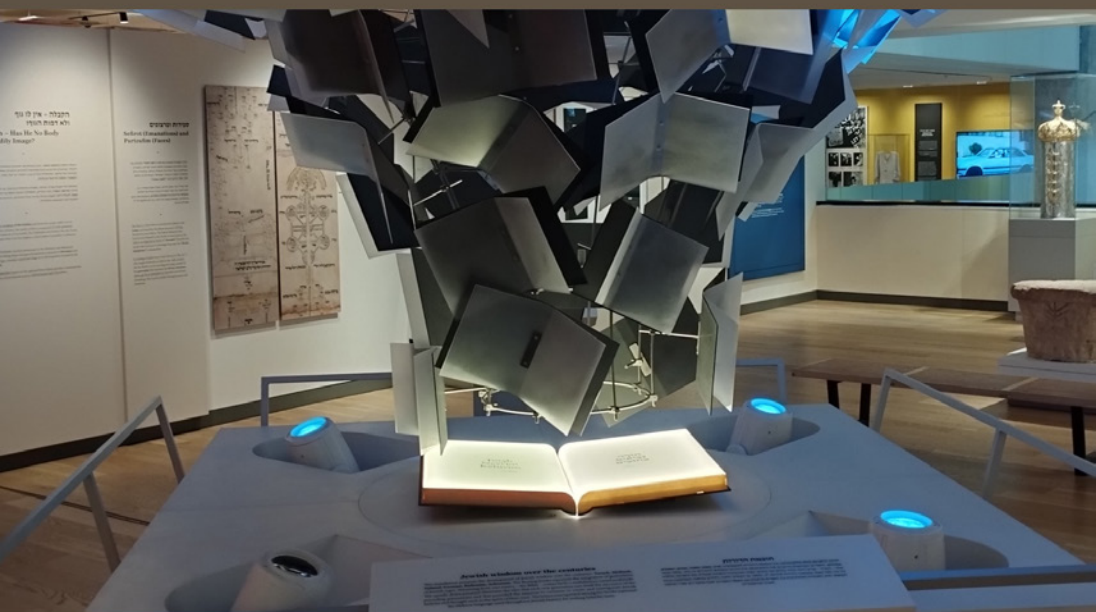


18+

Константин Бондарь



Я ЖИЛ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ...

Очерки о мастерах

Константин Бондарь

Я жил любимым делом...

Очерки о мастерах

Издательские решения
По лицензии Ridero
2026

УДК 82-9
ББК 76.01
Б81

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Бондарь Константин

Б81 Я жил любимым делом... : Очерки о мастерах / Константин Бондарь. — [б. м.] : Издательские решения, 2026. — 150 с.
ISBN 978-5-0069-4394-0

Сборник очерков о писателях и ученых, деятелях русской, украинской и еврейской культуры; мемуаров о коллегах и наставниках автора, представленных в шести разделах: «Семья», «Учителя», «Юбилеи», «Словарь», «Библиотека», «Досуги».

**УДК 82-9
ББК 76.01**

18+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

© Константин Бондарь, 2026
© Константин Бондарь, дизайн обложки, 2026
ISBN 978-5-0069-4394-0 © Константин Бондарь, фотографии, 2026

*Я жил любимым делом. Груды книг,
На пыльных полках сваленные тесно,
В молчанье ждали, чтобы я приник
К их горькой влаге...*

П. Антокольский. Двойник

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник содержит мемуарные и филологические очерки, расположенные тематически и хронологически по шести разделам.

Раздел первый, «Семья», состоит из двух мемуарных текстов. Первый очерк — о прабабушке автора Розе Каплан и её муже Науме Трейстмане, театральных актёрах, подлинных мастерах. Рассказ о них выводит к размышлениям «о жизни и судьбе русских евреев — советских людей — в горниле войн, потрясений и потерь...» Следующий портретный очерк — о дедушке, Михаиле Бондаре, ставшем для автора «примером противостояния жизненным неурядицам, агрессивному невежеству и самодовольной ограниченности». Большой книжник, колоритная личность, дед был из тех людей, которые «как будто больше самих себя».

Автор называет деда своим учителем, и теперь, когда пройдена немалая часть жизненного и творческого пути, неизбежным становится опыт самопознания, подведение промежуточных итогов, которое органично сочетается в этой книге со словами благодарности всем наставникам и учителям. Во втором разделе — «Учителя» — собраны портреты любимых учителей, профессионалов высокого класса: лингвиста Ефросины Широкоград, литературоведа Леонида Фризмана, историка и археолога Владимира Михеева.

Третий раздел, «Юбилеи», обязан своим появлением сотрудничеству с журналом «Русский язык, литература, культура в школе и вузе», издававшимся в Киеве Украинской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы, и в каждом его номере печатались материалы к юбилею известных писателей и филологов. Так были написаны очерки о Владимире Одоевском, Всеволоде Срезневском, Николае Гудзии.

Раздел «Словарь» объединяет статьи о русских писателях второго и третьего ряда, написанные для словаря «Русские писатели. 1800—1917». Выход 6-го и 7-го, справочного, томов завершает этот проект, начатый более тридцати лет назад. Очерки о Василии Якимове, Иване Явленском и Иване Хрущове являются отдельными редакциями одноименных словарных статей.

В 2013—2015 гг. автор работал в научно-исследовательском отделе документоведения, редких изданий и рукописей Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко. Очерки об ученом и сотруднике библиотеки Арсении Кадлубовском, личных архивных фондах филологов Льва Лившица и Лидии Яновской, хранящихся в этом отделе, составляют пятый раздел сборника — «Библиотека».

Наконец, в последнем разделе, «Досуги», собраны работы по истории русской литературы и филологии — от Екатерины II (очерк «Голоса «Всякой Всячины») до фигур XX и XXI века: о лингвисте, публицисте и переводчике Талмуда на русский язык Науме Переферковиче и о нашем современнике — исследователе древнерусской литературы и романисте Евгении Водолазкине.

Переехав в Израиль в 2015 г., автор сменил жизненный и профессиональный векторы. И этот новый этап нашел отражение в послесловии — записи беседы К. Бондаря с журналистом и редактором М. Гольдом в АНУ — музее еврейского народа в Тель-Авиве в мае 2025 г.

СЕМЬЯ

Что можем мы почерпнуть в семейных воспоминаниях и рассказах, в «давнопрошедшем» времени для времени настоящего? Об этом — представленные здесь очерки-размышления.

РАДИ СЛОВ УТЕШЕНИЯ. РОЗА КАПЛАН И НАУМ ТРЕЙСТМАН

Роза Каплан и Наум Трейстман — провинциальные еврейские актеры — родители моего прадеда, Марка Каплана, с которым я много общался в детстве. Я никогда не видел этих людей: Роза ушла из жизни за десять лет до моего появления на свет, а Наум — всего за несколько месяцев. Впоследствии я слышал о них семейные истории, в которых правда перемешивается с вымыслом, драматизм заслоняется повседневностью, а пафос вытесняется анекдотом. Сейчас их лица смотрят на меня с пожелтевших фотографий, и не у кого спросить, как все было на самом деле. Поэтому их жизнь и судьба — это канва для размышлений о жизни и судьбе русских евреев, советских людей, в горниле войн, потрясений и потерь, о неуловимом искусстве театра и забытом языке идиш, на котором они играли и, вероятно, думали, мечтали, а кое-что и записывали.

Рейзеле была старшей из восемнадцати детей Мойши Батейко. Откуда происходит эта фамилия? В очерке моего коллеги Леонида Смиловицкого о поездке по Беларуси в 2014 г.¹ я прочел о хуторе Батейки возле деревни Александрово, Молодечненского района Минской области. Может быть, корни оттуда?

¹ Смиловицкий Л. Путешествие в Беларусь // Авив. №9—10 (214—215),

Но родилась девочка в Игумене (теперь — Червень) Минской губернии, примерно в 1885 г. Выйдя замуж за своего сверстника, подмастерья портного Биньямина Мордухова Каплана, стала носить его фамилию, родила двух сыновей: старшего, Марка, моего будущего прадеда, и его брата Якова. Семья Каплан жила в Чернигове. В 1920 г. Роза осталась вдовой с двумя детьми-подростками.

Когда и как она стала артисткой? Подобно своей тезке из великого романа Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды» ушла из дому с бродячей труппой? У кого училась актерскому мастерству? Этого мы никогда не узнаем, как не узнаем и о том, где и как она выступала на сцене до БелГОСЕТа. Думаю, это были передвижные антрепризы — единственная форма еврейского театра в России до революции и в ранние советские годы. Постоянный театр возник в Минске на основе студии М. Ф. Рафальского только в 1926 г., и в его труппе Роза Каплан служила с самых первых лет. Историк театра, дочь одного из актеров Анна Герштейн, благодаря которой сохранились сведения о некоторых постановках, актерах и режиссерах, писала: «еще в 1926 г. восемнадцати молодых актеров, недавних студийцев, было недостаточно для ежедневного выхода к зрителям. И Рафальский, несмотря на свое неприятие „старого“ театра, обращается к актерам старшего поколения, имеющим профессиональный опыт»².

Тогда же Роза встретила будущего спутника своей жизни, одинокого актера Наума Трейсмана, ставшего ее детям вторым отцом, а позже внукам — дедушкой. Они прожили вместе около сорока лет. Наум был лет на десять моложе, хотя и считался «старым» актером, и поэтому Роза изменила свой паспортный возраст примерно на восемь лет. Наум был сиротой родом из Варшавы и рос на попечении родственников; детство его бы-

сент. — окт. 2014. С. 4—5.

² Герштейн А. Г. Судьба одного театра. Минск, 2000. С. 45.



Роза Каплан и Наум Трейстман. 1950-е гг. Семейный архив

ло далеко не радостным. Мы не знаем его подлинной фамилии; «Трейстман» — «утешитель» — театральный псевдоним, заменивший ее. Начало его актерского пути связано с труппой Эстер-Рохл Каминской, а затем мы застаем Наума в Минске артистом БелГОСЕТа в конце 20-х гг.

Довоенное десятилетие — счастливейшее время в истории советского еврейского театра. Белорусский государственный еврейский театр работал в помещении бывшей хоральной синагоги с прекрасной акустикой на ул. Володарского, 5. Теперь там, в перестроенном до неузнаваемости здании, расположен Национальный русский драматический театр Беларуси им. М. Горького.

Одна за другой выходили премьеры, сделавшие театр и его актеров известными в стране; театр обрел свое лицо и собственный голос. О нем много писали в республиканской прессе. Гастроли по Белоруссии, Украине, в Поволжье, Ленинграде позволили тысячам зрителей познакомиться с искусством еврейских актеров. Кроме этого, постоянно давались выездные спектакли на предприятиях, в колхозах и воинских частях. Несколько сохранившихся у меня фотографий из спектаклей, в основном неподписанных, скорее всего, относятся именно

к этому времени. К сожалению, точно установить, в каких именно постановках были задействованы Р. Каплан и Н. Трейстман, я не могу, и лишь примерно представляю себе их амплу. Им были по плечу возрастные роли, зачастую характерные, преимущественно в национальном репертуаре, скорее комического, чем драматического плана. К примеру, в спектакле «Колдунья» по А. Гольдфадену, режиссер В. Я. Головчинер, Роза Каплан играла мачеху. «Художественная точность была и у Р. Каплан (властная, распущенная, грубая мачеха)», — читаем у А. Герштейн¹. На одном из сохранившихся снимков актриса представлена в роли Слепой королевы в пьесе «Самозванец», на другом — в роли Стере в неизвестной постановке. Несколько других фотографий позволяют предположить сцены из спектаклей «200 000», «Тевье-молочник», «Гершеле-Острополер», «Два недотепы», «Свадьба в Касриловке».

Впервые угроза нависла над театром в 1937 г. в связи с арестом М. Ф. Рафальского. Но тогда художественным руководителем стал В. Я. Головчинер, и коллектив смог продолжить работу. Следующим серьезным испытанием стала война, начало которой застало театр на гастролях в Витебске. Некоторые актеры не успели эвакуироваться из Минска и впоследствии погибли в гетто. Другие ушли на фронт. В Новосибирск с театром уехали в основном актеры старшего поколения, и там театр проработал четыре года, собирая полные залы. К военному времени относятся премьеры «Бар Кохба» и «Суламифь». Моя бабушка Вера, которая находилась с мамой в эвакуации там же, в Новосибирске, где окончила школу и поступила в институт, была постоянным посетителем БелГОСЕТа, и ее память сохранила некоторые подробности тех лет. Ее нееврейские друзья с большим удовольствием бывали на спектаклях — язык отнюдь не был преградой, если на сцене происходило живое, захватывающее зрелище. Во-

¹ Герштейн А. Г. Судьба одного театра. С. 60.



БелГОСЕТ. Сцена из спектакля 1930-е гг. Семейный архив



БелГОСЕТ. Сцена из спектакля 1930-е гг. Семейный архив

обще, насколько можно судить, в лучшие минуты театр воплощал завет своего основателя Рафальского: «Театр — это праздник, а всякий праздник доставляет людям радость — как тем, кто его организует, так и тем, кто на нем присутствует. Ищите музыку внутренней жизни роли, гармонию души. Артист без душевной гармонии — ремесленник...»

Казалось бы, после победы можно было вернуться к прежней жизни. Но театр не сразу смог уехать домой; здание серьезно пострадало от обстрелов и бомбежек. Актерам было негде жить. К тому же вскоре он лишился художественного руководителя: Головчинер вынужден был покинуть Минск. И зрителя, прежнего благодарного зрителя почти не осталось: Холокост в Белоруссии был особенно опустошительным. Но актеры мужественно держались и надеялись на лучшее. В январе 1948 г. в Минск приехал знаменитый коллега и учитель, великий мастер еврейской сцены Соломон Михоэлс. Конечно, он не мог не побывать у своих старых друзей — еврейских актеров, хотя должен был смотреть спектакли других театров. Об этой встрече опубликованы воспоминания Юдифи Арончик и других артистов. Конечно, время было тяжелое и безрадостное, но, казалось, в судьбе БелГОСЕТа на мгновение промелькнул свет. Тем ужаснее была ошеломившая всех утром 13 января новость: Михоэлс погиб! В книге Матвея Гейзера о Михоэлсе есть несколько примечательных страниц, основанных на воспоминаниях и свидетельствах очевидца — поэта и переводчика Айзика Платнера:

«У театрального сквера, сквозь белую пелену, я увидел идущих мне навстречу актеров минского еврейского театра. Они были взволнованы, в глазах ужас. Без всяких предисловий они мне сразу выпалили: „Михоэлса убили!“ Потом мы пошли в морг. Было нас немного: я, старый актер Наум Трейсман и несколько молодых артистов — бывших воспитанников московской Еврейской театральной студии, которые теперь работали в Государственном еврейском театре БССР. Молодой санитар, которого нам удалось разыскать на заснеженных дорожках, открыл перед нами дверь. Сразу же у входа первым лежал Соломон Михоэлс. Он был в шубе, одна пола наброшена на другую. В воротнике шубы покоилась непокрытая голова Михоэлса.

Нижняя губа, хорошо знакомая по фотографиям, была опущена, будто он чем-то недоволен, обижен. Левая щека опухшая, заплыла кровоподтеком, как после кровоизлияния...»

«...в толпе не только плакали и молились.

Наум Трейстман: — Помните его Тевье-молочника, его золотые слова: «Знаете ли вы, что есть Бог на свете? Я не говорю, мой Бог или ваш Бог, я говорю о том Боге, об общем нашем Боге, который там наверху сидит и видит все подлости, что творятся здесь, внизу...»

Первый голос: — Наум, умоляю вас! Говорите шепотом.

Второй голос: — Вы нас всех погубите!

Третий голос: — А что, разве уже нельзя читать Шолом-Алейхема?

Наум Трейстман: — А его великий король Лир: «Нет, не дышит! Коню, собаке, крысе можно жить, но не тебе. Тебя навек не стало, навек, навек, навек, навек, навек! Мне больно... Боги, в высоте гремящие, перстом отметьте ныне своих врагов! Преступник, на душе твоей лежит сокрытое злодейство. Опомнись и покайся! Руку спрячь кровавую, непойманный убийца!»

Второй голос: — Эти актеры всех нас погубят.

Снежная буря усиливается. И у всех в толпе, стоящей неподвижно, уже по две шапки: своя и снеговая. Бешеный порыв ветра сносит корону из снега с головы короля Лира — Михоэlsa — Трейстмана...»¹

Вот так неожиданно, сквозь десятилетия, до нас донесся голос еврейского актера, прозвучавший в одну из самых трагических минут в судьбе еврейского театра, да и всех советских евреев. Все понимали, что надвигается беда. И она действительно разразилась закрытием театра Михоэlsa, разгромом Еврейского антифашистского комитета и гибелью его членов несколько лет спустя, наступлением на еврейскую культуру по всем фронтам, ростом антисемитизма и глухой вражды, отзывавшейся еще десятилетия, и, наконец, апофеозом мракобесия — делом врачей 1953 г.

Театр в Минске просуществовал еще чуть больше года, и весной 1949 г. был закрыт как «нерентабельный». Актеры разошлись кто куда. Некоторым даже удалось продолжить про-

¹ Гейзер М. Михоэлс // <https://www.litmir.me/br/?b=157166&p=74>

фессиональную работу в театрах и студиях, а Роза Каплан и Наум Трейтсман переехали в Харьков, где жили дети и внуки. Странствия окончились. Все, что у них отныне было, — маленькая комнатка в коммуналке, скудная пенсия и воспоминания. Их жизнь по тем меркам можно даже признать счастливой. Наум набрасывал какие-то заметки о театре, может быть, записывал памятные события и встречи. Иногда декламировал за семейным столом из какой-нибудь роли, рассказывал об актерах прошлого. Оставшись одиноким после смерти жены, Наум, несомненно, был чем-то вроде экспоната кунсткамеры, украшением хлебосольных застолий в доме пасынка и невестки. Им «угощали» гостей, и это было сродни голосу «потонувшего колокола». Было совершенно ясно, что та жизнь ушла и никогда не вернется. Хранить воспоминания и тем более искать утраченное наследие никому не приходило в голову. Лучшим решением, конечно, виделось полное забвение. Думаю, Наум это понимал и старался жить незаметно.

Как писала А. Герштейн, «сейчас уже почти никого из актеров и режиссеров нет в живых. В Республике Беларусь еврейского театра больше нет. Лишь иногда кто-то из зрителей старшего поколения вспомнит взволновавшую его сцену из спектакля или актерскую работу, оставившую в душе особенно сильное впечатление. Свои размышления, свой опыт, свое умение театр не смог передать никому»¹.

Еврейские актеры и писатели советской эпохи просто были евреями и именно в этом качестве могли рассчитывать на самовыражение, без патетики геройства, но без уступок и духовной капитуляции. Актерское ремесло по своей природе не может сохраняться долго. И даже ошеломительная игра сохраняется в памяти как затухающее эхо, и ощущения становятся все бледнее. Что же тогда остается? Воспоминания о радости, подаренной людям, о произнесенных однажды словах утешения.

¹ Герштейн А. Г. Судьба одного театра. С. 91.

**«МНЕ ЗАСТАТЬ В ЭТОМ ВЕКЕ ВЫПАЛО...»
(О ДЕДУШКЕ – СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ)**

*Мне застать в этом веке выпало
сразу юность его и старость...
Ю. Левитанский*

Я рос в близком общении с моим дедом (вспоминаются примеры Максима Горького и Хаима-Нахмана Бялика), и его влияние на меня было решающим. Спустя десятилетия его присутствие все еще ощущается, и, принимаясь за эти заметки, я, конечно, предвкушал встречу с прошлым. Однако с годами мне становится все яснее, что общение с дедушкой было залогом будущего, уроком противостояния жизненным неурядицам, прививкой против страшных бед – агрессивного невежества, самодовольной ограниченности и житейской мелочности.

Михаил Бондарь – учитель, фронтовик, филолог, библиофил, проживший три четверти XX века, – был человеком своей эпохи и своего поколения, первым в своем роду ставшим интеллигентом, выжившим в страшные времена и исповедовавшим единственную религию – веру в человека. При этом он не был ни фанатиком, ни догматиком, а его жизнелюбие и неизменный юмор подарили ему добрых пятнадцать лет в борьбе с тяжелой болезнью. То, каким я запомнил своего деда, и то, как думаю о нем сегодня, рисует живой образ нашего современника.

Представим такую картину: пожилой мужчина и мальчик неспешно уходят вдаль по парковой аллее. Они о чем-то негромко беседуют. Мужчина изредка останавливается, чтобы закончить мысль или привести пример, пошутить или припомнить забавный эпизод. «Кто знает?» – задумчиво спрашивает он себя при этом. На самом деле остановки нужны не только для этого: после инфаркта ему приходится справляться с повышенной усталостью и бросать под язык таблетку нитроглицерина. Это, впрочем, не мешает беседе. Так они могут гулять пару часов, и общение их не утомляет. О чем они говорят? Например,

перечисляют великих писателей, вспоминают римских или русских императоров, политиков и деятелей прошлого, полководцев и путешественников, мечтают о будущем. И сегодня я часто ловлю себя на мысли, что о многих вещах впервые услышал от деда. Атласы, карты, энциклопедии, инструменты, приборы, имена философов, артистов, названия фильмов. В наших разговорах мелькает Харьков прошлых десятилетий, довоенный Донбасс или совсем уж мифологическое село Волошино, навсегда оставленное дедом в 1931 г. В них звучат имена писателей и поэтов так, как если бы они были нашими знакомыми, а люди из минувших эпох все еще оказывают воздействие на нашу жизнь (к слову, книги из жанра воспоминаний были у деда настольными). В этих беседах могло быть все, что угодно, но только не злословие и не сплетни. Любое недоразумение дед привык обращать в шутку, приговаривая: «Извини, если что не так!», а прощаясь, напутствовал: «Если что, отбей телеграмму!».

Я всегда воспринимал деда как человека пожилого. И действительно, он рано начал стареть, а после первого инфаркта стал стареть стремительно. Так что даже сравнительно молодым я его не помню. Ко времени, когда наше общение стало значимым фактом моей биографии, активная жизнь была у него в прошлом. Возможно, это было одной из причин пристального и вдумчивого внимания, которое дед проявлял ко мне. Я родился вскоре после его 50-летия, воспринятого им как жизненный пик, с которого начинается спуск вниз (к этому образу, одному из сквозных в его мироощущении, он постоянно возвращался), и стал приложением его учительского, читательского, профессионального опыта, гордостью и надеждой. Это он дал мне имя, с которым у меня всегда были непростые отношения, однако в конце концов мы примирились; теперь я даже не могу представить, что меня могли бы звать как-то иначе. Константин. Имя, нечастое даже у моих ровесников, а после и вовсе почти не встречающееся. Имя великого князя Константина Павловича, с которым оно вошло в моду среди дворянства. Имя писателя Паустовского, по которому оно, в общем, и было мне дано. Ни

до, ни после меня среди наших родственников никто этого имени не носил.

Дедушка родился в трудном, едва ли не первом после череды потрясений 1922 году, и, сколько я помню, всегда придавал значение этой дате: из поколения его ровесников с войны вернулось что-то около 3%, и дед считал свою послевоенную жизнь подарком. О ком-то он мог сказать: «Он [или она] моего года», и эта лаконичная характеристика приобретала особую многозначность. Его родина — село Волощино в Криво-Озерском районе теперешней Николаевской области (прежде Одесской, а еще раньше — Балтского уезда Подольской губернии). Он был старшим сыном своих родителей, и его называли Меиром в честь деда по отцу, к тому времени умершего (во всяком случае, так считали в семье); бабушка звала его «Муркой», а потом он стал Михаилом и жил всю дальнейшую жизнь с этим именем. И отчество ему, подобно многим советским евреям, пришлось на фронте сменить и стать «Сергеевичем». Здесь стоит вспомнить о том, в какой семье родился дедушка. Семья Бондарей была простой: занимавшийся деревенским трудом отец, Израиль, или по-местному Сруль, и мама-домохозяйка Циля, дочь торговца из города Вознесенск Янкель-Меира Елисаветского. Прабабушка получила некоторое образование, но жизнь ее сложилась так, что она с молодости вынуждена была вести хозяйство, заботясь после рано умершей матери о младших сестрах, а затем, после замужества, о своей большой семье. Ведь у Циля и Израиля родилось пятеро детей, которые выросли достойными людьми, потом появилось восемь внуков и восемь правнуков, старших из которых Циля еще застала. Уже растет пятое поколение — в свободном мире, на разных континентах, вдали от многострадальной земли их предков. Бондарям, можно сказать, посчастливилось: в больших трагедиях XX века они уцелели.

Мы никогда не жили с дедом в одном доме, и сейчас я не могу вызвать своих первых воспоминаний о нем. Рождение моей памяти из младенческого хаоса почти безраздельно связано с бабушкой (с другой, материнской стороны), с которой мы

вместе жили и которая создала для меня герметичный мир, окутанный, словно пеленой, беззаветной любовью и всепоглощающей заботой. На первых порах дед как будто и не входил в этот мир — может быть, потому, что мир был женским? Бабушка, ее старшая сестра — моя няня, вторая бабушка, тетя и мама практически полностью заполняли универсум ребенка. Да, мужчин здесь не было — ни отца, ни деда. Но мир моего детства был ощутимо ценностным и иерархичным. Я осознавал свою жизнь как нечто разумное, правильное и подчиненное неведомым, но справедливым законам. Взрослые, наполнявшие мир вокруг меня, за редким исключением виделись как вызывающие доверие люди, которые знают, что делают. В этом я ежедневно убеждался на множестве примеров, и довольно долго ничто не могло поколебать во мне эту уверенность.

До общения с дедом надо было дорасти, потому что оно требовало некоторой самостоятельности и зрелости. Оно было партнерским, а не покровительственным. Дед предлагал паритет, приобщая к теме, задавая вопросы или вынося суждения. Он очерчивал круг, в котором надо было сориентироваться, предложить ответ, возможное решение. Мышление на критических точках, приглашение к сотрудничеству оставляло радостное чувство выхода за пределы повседневности. Это не приходило автоматически: за редкое ощущение надо было бороться, пробиваясь к нему сквозь умственную лень и детскую беспечность.

Вот одно из ранних воспоминаний. Стройные и высокие ряды книжных полок уходят под потолок. Они плотно уставлены. Корешки книг разноцветные, некоторые посверкивают золотом в проходящем свете. Книги тонкие и толстые, высокие и совсем небольшие. Перед книгами на нескольких полках стоят фотографии. Это комната дедушки и бабушки, в которой я не живу, но куда прихожу в гости довольно часто. Дедушка — хранитель и знаток всех этих книжных богатств. Он знает им и счет, и ранжир. Здесь есть книги, которые я могу просматривать и даже читать. Есть такие, до которых я не достаю, да так и не узнаю потом, что же там внутри. Я знаю, что эти книги по-

купаются и собираются, чтобы когда-нибудь достаться мне. В доме деда и бабушки начали собирать книги с 50-х годов, и эта миссия не прекращалась до начала 90-х, когда найти приличную книгу стало трудно, а цены на них взлетели. До расцвета современной книжной торговли дедушка не дожил, и большая часть его книжного собрания была родом из благополучных 70–80-х годов. У него были свои предпочтения, но иногда он повторял, что в годы «книжного бума» покупалось все, что выходило в приличной обложке на русском языке. Теперь я понимаю, что это было ошибкой — библиотека должна подбираться целенаправленно и осмысленно. Так я впоследствии старался комплектовать свою собственную библиотеку, которая, конечно, уступает дедовской по размеру, зато отличается узкой направленностью и полнотой раскрытия темы. Ее приоритет — древнерусская литература и иудаика — темы, которые деда не интересовали. Не могло быть в его собрании и таких специфических разделов, как авторские экземпляры публикаций, число которых у меня к сегодняшнему дню перевалило за сотню (но не все они, конечно, есть в моей библиотеке), или, скажем, книг и пособий по методике преподавания русского языка, подборка которых активно пополняется после вступления моей жены в сообщество израильских русистов. Надо учитывать и то, что дедовская коллекция ориентировалась на читателя взрослого, тогда как у меня хранится довольно много изданий для детей. Основа этого раздела составлена моими собственными детскими книгами, затем он был расширен в детские годы моего сына, а сегодня продолжает пополняться книжками дочки. О многих книгах дедовской библиотеки мне нечего рассказать: они так и остались мне почти неизвестными (как, например, Морис Дрюон, которого я так и не удосужился прочесть, или весь Дюма, за исключением «Трех мушкетеров»). Довольно большой раздел по цирку, кино и театру я передал Харьковской музыкально-театральной библиотеке. Другой раздел — детективы — никогда меня особенно не привлекал, и, прочитав несколько, я подарил их родственникам. Были у де-

душки и другие привязанности. Так, он собирал серии «Библиотека античной литературы», «Библиотека литературы США», от которых пришлось отказаться при переезде в Израиль. Существенную часть книжных богатств составляли собрания сочинений (думаю, больше полусотни), и среди них такие гиганты, как академический 30-томный Чехов, 22-томный Толстой или 15-томный Гюго. В основном они ушли к букинистам еще в конце 90-х, а те, что остались, — перед отъездом в 2015. С некоторыми книгами связаны особые воспоминания. Например, иногда дед произносил знаменитые достоевские слова: «А не почитать ли нам Гоголя, господи?», и за этим следовало неизменное совместное чтение нескольких страниц из «Вечеров на хуторе...» Часто мы читали отрывки из «Жизни 12 цезарей» Светония или из современной книги Е. Федоровой «Императорский Рим в лицах». Таким же постоянным чтением по искусству был сборник «Пятьдесят биографий мастеров западноевропейского искусства» с черно-белыми иллюстрациями. На ночном столике возле дедовой кровати постоянно лежали трехтомник «Опытов» Монтеня, «Разговоры с Гёте» Эккермана, книжечка эссе Андре Моруа, почему-то «Мышеловка» Агаты Кристи. Дед очень любил и уважал издания серии «Литературные памятники», и у нас их было несколько десятков. Затем, уже самостоятельно, я приобрел у букинистов еще несколько томов. Часть из них и теперь у меня: древнерусские памятники; издания, подготовленные моим научным руководителем, профессором Фризманом, — Баратынский, «Северные цветы», «Думы» Рылеева, «Европеец» Киреевского. И вот, наконец, я сам стал автором серии — вместе с Леонидом Генриховичем мы подготовили «Марфу, Посадницу Новгородскую» Михаила Погодина, которая увидела свет в 2015 г. Интересно, что бы сказал дед об этой книге?

Дедовской библиотеки как целого больше нет. Но из нее выросла моя нынешняя библиотека; часть книг из прошлого вошла в это современное собрание, но главное — остался образ и воспоминание о книгах, которые воспитывали своим присутствием.

Давным-давно, в одном из выпусков «Очевидного – невероятно-го», Сергей Петрович Капица сказал своему собеседнику: «Книга воспитывает своим присутствием». Сколько раз с тех пор в разные минуты эти слова приходили мне на ум! Какая емкая формула заключалась в сочетании этих простых слов! Я думаю, они в состоянии передать, подобно девизу, самые важные события и впечатления моей жизни, выразив наилучшим образом неуловимый и неповторимый облик погруженного в повседневность существования.

Немало часов мы провели, слушая музыку. У деда был неплохой по тем временам проигрыватель грампластинок и большая аудиотека. Его любимым композитором был Бетховен. Мы часто слушали 5-ю симфонию, и «Лунную» сонату, и «Аппассионату». Помню рассказ о потрясшем его концерте Бетховена в Москве в послевоенном 45-м году. Как-то он принес «Реквием» Моцарта, и много раз звучала у нас его грандиозная музыка. А были еще любимые записи Утесова, Петра Лещенко, Аллы Баяновой, Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина. Не с той ли поры я люблю довоенную эстраду? И еврейскую песню я тоже впервые услышал у деда: народные песни на идише исполнял Соломон Хромченко. А дедовская коробка шахмат! Крупные, хорошо выточенные фигуры не помещаются под крышкой. После обеда они извлекаются из шкафа и расставляются на доске. Дедушка объясняет мне, как расставлять фигуры и как делать ходы, за этим следует обдумывание следующего хода и анализ возможных вариантов выхода из создавшегося трудного положения, практически всегда – мой неизбежный проигрыш. Я не стал шахматным игроком, редко беру теперь в руки фигуры, но в моей жизни была эта эпоха шахмат.

Что же было у него за плечами, после счастливого детства в Володино и донбасского отрочества? Например, кипевшая жизнью Одесса конца 30-х, куда судьба его занесла учиться на киномеханика. Дедушка любил кино со всей страстью и мечтал показывать кино в клубах. Вторым его сильным увлечением с юности был цирк. Осуществлению мечты помешали



На фронте. 1943 г. Из семейного архива

бесшабашная молодость и юношеский максимализм. Родители вовремя спохватились и увезли его домой, в Енакиево, где он закончил педучилище и успел даже один предвоенный год проработать учителем начальной школы в с. Пулынцы Полтавской области. В 1941–1942 гг. были Наманган и минометная школа в Подольске, служба в качестве командира минометного расчета и тяжелое ранение в ногу в сентябре 1943 г., полгода госпиталей, после чего он был переведен на штабную работу. Нога так и осталась короче другой на несколько сантиметров. В его записной книжке я прочел строчки о повторяющемся сне:

*В бой вздымала команда «В ружье!»
Иль несли минометы в гору –
Одного я не ведал в ту пору:
Где находится сердце мое...*

В качестве особиста лейтенант Бондарь встретил День Победы в Берлине. После этого был приписан к комендатуре, служил при генерале Берзарине. Любимый рассказ дедушки о послевоенном Берлине — о поездке к больному и голодавшему драматургу и романисту, Нобелевскому лауреату Герхарту Гауптману.

Старику привезли продукты. Писатель встретил советских солдат сидя в кресле, под пледом, и сказал, что осознает свою вину и к смерти готов. Узнав, что к нему пришли с помощью, он был растроган. Через год писателя не стало. Это была встреча с глубокой внутренней культурой, с мужеством и со словом — то есть, ключевыми темами всей последующей жизни моего деда.

Война для Михаила Бондаря, между тем, не закончилась 9 мая 1945 года. Впереди ждало новое назначение: начальником лагеря военнопленных, среди которых в основном были румыны и венгры. Тысячи их, подавленных, разочарованных и растерявших былые иллюзии, были разбросаны по этим лагерям. Там они трудились на восстановительных работах, а потом в течение нескольких лет были отправлены на родину. Дедушка отвечал в числе прочего и за их доставку. Так он после войны во второй и последний раз проехался по Европе — Румынии, Венгрии. Собственно, наград было у него немного — военный орден Красной Звезды, потом юбилейные медали и орден Отечественной войны к 40-летию Победы. Но вот была у него особенная любовь и гордость — медаль «За отвагу», которую он получил только в 1976 г., потому что фронтовое представление где-то затерялось. В прямом смысле слова награда нашла героя!

В 1946 г. в Харькове дед встретил мою будущую бабушку, Веру Каплан, и вскоре они поженились. Их совместная жизнь, не всегда безоблачная, но в конечном итоге счастливая продолжалась больше пятидесяти лет. Их совместным трудом и любовью был создан мир моего детства, который до сих пор оберегает меня, и именно им я обязан тем, что стал филологом.

В структурах Министерства государственной безопасности дед прослужил до демобилизации в 1949 г. и тогда же поступил на заочное отделение филологического факультета Харьковского университета по специальности «журналистика», которое окончил в 1951 г. То было страшное и трудное время. С одной стороны, усиливался идеологический диктат, как раз началась компания разоблачения «космополитов», и от нее пострадал известный университетский литературовед и театраль-

ный критик Лев Яковлевич Лившиц, и не только он; в учебные планы был введен курс «Основы сталинского учения о языке», а с другой — студенты были почти сплошь взрослыми серьезными людьми, многие с фронтовым опытом, но и среди преподавателей были вчерашние фронтовики — Моисей Горациевич Зельдович, Георгий Иванович Шкляревский. По одним и тем же коридорам ходили мои будущие учителя — Ефросинья Фоминична Широкоград, Ксения Сергеевна Осипова. На факультете работали выдающиеся специалисты — Александр Моисеевич Финкель, Николай Михайлович Баженов, Вера Павловна Беседина-Невзорова. Научным руководителем Михаила Бондаря стал Марк Черняков, под руководством которого он защитил дипломную работу «Очерки М. Горького „По Союзу Советов“».

Вот как учились на тогдашнем филфаке. Один из преподавателей просил, чтобы ему перед лекцией ставили на кафедру стакан крепкого чая. Однажды вместо чая в стакане оказался коньяк. Лектор выпил его, не моргнув глазом, и приступил к занятиям. Таков был «градус» взаимного уважения. На экзамене, видимо, по основам марксизма-ленинизма (сужу по сохранившейся выписке из зачетной книжки) деду попался вопрос по какой-то работе Ленина, допустим, «Детская болезнь левизны в коммунизме». Между студентом и экзаменатором состоялся примерно такой диалог:

Студент: «в своей работе Владимир Ильич Ленин...»

Преподаватель: «и товарищ Сталин...»

Студент: «...следующим важным утверждением Ленина...»

Преподаватель: «и товарища Сталина...»

Студент: «...наконец, делает вывод Владимир Ильич...»

Преподаватель: «и товарищ Сталин...»

Да, 1951 год... Несмотря на то, что проучиться в университете дедушке пришлось всего два года, он вспоминал это время как лучшее в своей жизни. Он был единственным в нашей семье с университетским образованием (бабушка окончила пединститут) и долго еще носил на пиджаке университетский значок. Отмеченной в дипломе квалификацией «литературный работник



М. Бондарь. 1960-е гг. Из семейного архива

газеты» он всегда гордился, но по специальности, да и то не вполне, смог проработать всего три года — два из них цензором, в тогдашнем управлении по охране государственных тайн в печати (так называемый «Главлит»), и год в типографии Политехнического института. Вся остальная его трудовая жизнь прошла на учительском и преподавательском поприще. Сразу после университета вместе с женой и четырехлетним сыном они оказались в Лубнах Полтавской области. Там дед директорствовал сначала в одной, затем в другой школе. Спустя несколько лет он еще раз попробовал попытать счастья вне Харькова — в Енакиево, где жили мама и младшие сестры. Наконец, осев окончательно в Харькове, работал учителем и завучем по производственному обучению (была такая должность в эпоху «политехнической» реформы школы), а затем — преподавателем политэкономии в техникуме общественного питания. Вот эту свою последнюю работу он по-настоящему любил и задержался на ней дольше других — 12 лет! Здесь его ценили, и он, в конце концов, нашел свое призвание. Правда, это случилось, когда ему было уже 46 лет, в 1968 г., а в 1980-м пришлось выйти на пенсию по инвалидности. Но техникум он не забыл и продолжал ходить туда на празд-

ники и партийные собрания, писал иногда контрольные работы для студентов-заочников и заменял заболевших коллег. Дедушка не раз говорил мне, что жалеет о своих метаниях, хотел бы прожить жизнь иначе и напутствовал придерживаться одной выбранной дороги.

Не могу сказать, что последовал его совету — я сменил не только несколько мест работы, но и специальность, а в конечном итоге и страну. Недаром говорится: «Дела отцов — знак для детей». Но встреча с моей настоящей работой у меня все-таки была. В студенческие годы, в пору напряженных раздумий о будущем я записал в дневнике: «Поиски своего Веймара?..» Это было в дни чтения книги К. О. Конради «Жизнь и творчество Гёте» — двухтомника, к которому я время от времени обращаюсь и теперь. Так искалась формула будущего жизнеустройства, которое виделось в категориях уникального общественного и профессионального служения. Самонадеянность подобных ожиданий очевидна, и, тем не менее, этот образ был притягательным и не казался абсурдным. Что ж, понадобилось 5–6 лет, и мираж начал приобретать плотность. Я был готов к необычному предложению, и оно зрело, чтобы однажды представиться мне. В апреле-мае 1998 г. я услышал от моего друга Виктора Вербицкого о планах по созданию в Харькове еврейского университета. В один из майских дней я пометил в блокноте: «Соломонов университет?» Понадобился год, чтобы этот немой вопрос и смутные предчувствия получили прояснение. Виктор начал работать в новом университете с первого дня — читал студентам еврейскую историю. Он был кандидатом наук, математиком, но профильного специалиста не нашлось. Харьков и тогда, и теперь в области востоковедения и евреистики не был богат специалистами. Директор Соломонова университета, Борис Элькин, предложил мне получить в Москве, в только что созданном Центре иудаики и еврейской цивилизации в ИСАА при МГУ, дополнительное востоковедческое образование, с тем, чтобы работать потом в Харькове. Это было поистине историческое решение. Так было положено начало полутора «соломоновским» десяти-

летиям в моей жизни. В области еврейской истории я продолжаю работать и сегодня.

Но вернемся к деду. Оказавшись на пенсии, он вел образ жизни деятельного человека, вынужденно оказавшегося не у дел. Ни дня он не проводил сидя дома или на скамейке с пенсионерами. Его маршрут был предопределен активной целью — посещение книжных магазинов, прогулка по парку, покупка газет и лекарств в аптеке. Соблюдался строжайший режим: днем после обеда он ложился отдохнуть, и бабушка выключала на два часа домашний телефон. Никакие волнующие новости не допускались, проблемы окружающих не проникали за порог квартиры. Как человек, встретившийся с серьезной опасностью, дедушка был подвержен соблазну ухода в болезнь, но несколько вещей, вызывавших у него живой интерес, помогали держаться на плаву: сначала перестроечный информационный и публикаторский бум, наводнивший их маленькую квартирку подборками толстых журналов и сборниками скороспелой публицистики, потом коллекционирование анекдотов, множество которых он знал и любил со вкусом рассказывать, и, наконец, моя учеба в университете. «Над чем ты сейчас работаешь?» — таков был его дежурный вопрос ко мне. И он требовал ответа по существу, тогда как на большинство других вопросов дед, в общем, ответа не ждал.

Спустя сорок лет после деда я тоже пришел на филологический факультет. Это уже был другой филфак, но некоторые из преподавателей той эпохи еще продолжали работать, и своих настоящих учителей я тоже нашел. Не только мы храним филологию, но и она нас хранит. Она снабжает нас могучим оружием — отстранением: жизнь переживается не непосредственно, в перипетиях повседневного, но переосмысливается в эстетических категориях. То есть, любое событие, встреча или факт становятся не тем, чем они есть, а тем, как мы их воспринимаем, вспоминаем и рассказываем о них. Слово о предмете замещает и вытесняет сам предмет, и в жизни остается как бы его словесный слепок. Это позволяет многократно расширить освоенный мир посредством включения в свой опыт словесных слепков

других людей, о которых мы читаем. Вместо одной жизни мы проживаем сотни и тысячи. В этом и был смысл дедовского напутствия в филологию, как я его понял спустя годы.

Вместе с тем будет ошибкой думать о Михаиле Бондаре как о человеке не от мира сего. Его витальность проявлялась в некотором щегольстве, с которым он выбирал и носил одежду, особенно галстуки. Его невозможно было заставить неаккуратно или неряшливо одетым. Почти весь год, за исключением зимних холодов, он носил элегантные кепки. Когда-то, в молодости, дед был любителем и любимцем женщин, и об этой стороне жизни мы тоже много говорили. Точнее, говорил он, а я только слушал, ибо в этом мы оказались с ним непохожи. Он успел увидеть и узнать мою будущую жену и, как мне кажется, остался на мой счет спокоен. А как он хотел увидеть правнука! Часто говорил мне: «ну хотя бы одним глазом взглянуть на него, на Алешу!» По мысли деда, этого ребенка должны были назвать Алексеем, в честь моего деда по матери. Алексея не получилось, зато получился Михаил, родившийся через полтора года после смерти прадеда и, естественно, носящий его имя. Так что у меня снова есть Михаил Бондарь. Прадед и правнук совсем разные, но от этого контраста лишь ярче блистают таланты каждого из них. Не сомневаюсь, что они понравились бы друг другу — солдат Великой Отечественной и боевой инженер Армии обороны Израиля.

И вот о непростой для моего деда теме еврейства. Я пишу о нем в Израиле — стране, в которой он никогда не был, о которой думал в последние годы жизни и где теперь живет его единственный внук и его правнуки. Если принять суждение, что еврей — это тот, у кого внуки евреи, то, толкуя эту максиму расширительно, мы вполне можем признать моего деда настоящим евреем, потому что его внуки — израильтяне. Что же он думал о своем еврействе? Не будучи религиозным человеком, он не придавал значения метафизической стороне принадлежности к еврейскому народу и не понимал ее. А физическая, так сказать, сторона принесла ему немало огорчений и восприни-

малась, скорее, с досадой. Итог его размышлений в последние годы сводился к тому, что на Руси евреем лучше не быть. Говоря о «Руси», он, конечно, имел в виду пространство бывшей империи, относясь вполне равнодушно, если не сказать неприязненно, к появившимся в ту пору младонациональным притязаниям. Укрупняя масштаб, он не хотел, да и не мог разглядеть существенных отличий, по крайней мере, между славянскими странами. Все это пространство воспринималось им как территория русского языка и культуры, к которой он безраздельно принадлежал.

Как бы мало места ни занимало еврейство в его жизни, свое отношение к нему у него все же было. Так, он не женился на русской женщине, хотя такая возможность не раз представлялась. Я склонен объяснять это совпадением: не встретить он бабушку, вполне возможно, его женой стала бы другая, не обязательно еврейка. Тем не менее, никто из его братьев и сестер в смешанный брак так и не вступил. Имея яркую характерную внешность, дед все же пытался объяснить самому себе и убедить в этом других, что он не совсем еврей: поводом для этого служила наша вполне традиционная украинская фамилия. Теперь мы знаем, что евреи Украины могли носить свойственные местному населению фамилии, поскольку практика присвоения фамилий была поздней и практически не знала безусловных алгоритмов. Итак, дедушка сочинил себе украинского предка Бондаря (по-видимому, деда Меира, которого он называл «Маркушей») — тот, якобы повинувся страсти к прекрасной еврейской девушке, перешел в еврейскую религию, и так появились евреи с украинской фамилией. Дедушка был добрым мечтателем. Конечно, случаи перехода в иудаизм были, но, во-первых, они были наперечет, строго наказывались, и представить себе в империи православного, который рискнул бы пуститься в такую авантюру, почти невозможно; для этого нужны были одержимость и готовность жертвовать буквально всем. Во-вторых, если даже и возникала такая «межконфессиональная» любовь, она наверняка заканчивалась крещением противополож-

ной стороны. И мужчины, и женщины в XIX веке, особенно во второй его половине, шли на это и по карьерным соображениям, и в целях безопасности, и по убеждениям. Долгое время я не мог найти объяснения этой легенды, но как-то, в переписке с моим троюродным братом Романом, у меня появилась догадка, которая может объяснить причудливую фантазию деда. Как я уже писал, прапрадеда Меира Бондаря считали умершим. Рассказы о его судьбе всегда были противоречивы: то ли он погиб в Первую мировую войну (был, между прочим, Георгиевским кавалером), то ли стал жертвой погрома в Гражданскую. Ключ к его судьбе может содержаться в следующей дедовской сказке: якобы его бабушка Хая, встретившись во время войны с австро-венгерским офицером (сербом по национальности), влюбилась в него и ушла из дому (представим себе такую сцену в патриархальном еврейском быту!), оставив детей и мужа, но вскоре вернулась, то ли осознав свою ошибку, то ли убедившись в непрочности нахлынувших чувств. При этом, если отнестись к рассказу серьезно, Хае должно было быть уже за сорок. Муж встретил ее как ни в чем не бывало... Я относился к этому повествованию настороженно, как и к рассказам об украинских предках Бондарей, несмотря на то, что дедушка многократно и с вариациями воспроизводил свою историю. Так вот, Роман слышал от своей бабушки, сестры моего деда, глухие отрывки слухов об ушедшем из семьи ради христианской девушки и крестившемся их деде, которого, действительно, как это принято у евреев, с тех пор считали умершим. Не это ли основа романтической сказки о любви к красавцу-офицеру, только наоборот? И не здесь ли исток мнимой родословной? Возможно, дедовская память так причудливо сохранила услышанные в детстве пересуды, а может быть, желая внутренне оправдать покойного деда, он сделал героиней адюльтера бабушку? Кто знает?.. Ее он, кстати, помнил (она умерла в войну, в эвакуации), описывал ее пристрастие к «мерзавчику» из «монопольки», содержимое которого поглощалось вместе с крошенным хлебом, как крестьянская тюрка. Набрасывая эти строки, я пы-

таюсь запечатлеть тень от тени. Живя в эпоху больших перемен и больших потрясений, люди сохраняли и передавали дальше лишь крохи.

И мне осталось вспомнить немногое. Мне было, наверное, лет десять, когда дед начал говорить со мной о смерти. Пожалуй, эти разговоры быстрее других делали меня взрослым. Но узнал я о смерти не от деда. Примерно с пяти лет меня брала с собой на кладбище бабушка Аня — мы вместе ухаживали за могилой другого моего деда, Алексея Денисовича, которого я не помнил. Порядок, заведенный в мире, где существует неизбежная всеобщая смерть, я принимал без ропота. А дед заговаривал, например, о том, что у Юлия Цезаря однажды спросили, какую смерть он бы предпочел. На это полковдец ответил: «Внезапную». И дед комментировал — хорошо умереть на ходу, не думая о смерти и не готовясь к ней. Лучше всего — в бою. Еще бывало, заговаривали мы о том, кто сколько прожил из известных людей. В детстве меня почему-то пристально занимали длинные жизни, люди, достигшие глубокой старости, как, например, Микеланджело, Гёте или Толстой. И дед разъяснял, что не так важно прожить долго, важно прожить достойно. Много лет подряд вспоминал он вычитанное у Уильяма Сарояна: *«...а потом мой отец поменял ботинки на похоронные тапочки»*. И до того полюбился нам этот образ, что о всяком умершем говорилось что-то вроде: «ну вот и такой-то поменял». Уточнения в этом контексте не требовалось. В качестве образца поведения перед лицом смерти рекомендовалась поговорка запорожских казаков: «Поки я є — її нема. Вона прийде — мене чортма», и таким образом оказывалось, что бояться, в общем-то, нечего. А после 70-ти излюбленным анекдотом стал услышанный на улице диалог, который мы разыгрывали в лицах:

— А сколько было тому деду?

— Не знаю, лет 70.

— А, 70! Так что ж ты хотел?!

И заканчивалась сценка неизменным добродушным смехом... Дед привык говорить о неизбежном с юмором и не усложнять чрезмерно предмет. Дед умер так, как хотел — почти внезапно. Накануне вечером мы поговорили по телефону (я как раз сообщил ему экзаменационную оценку по кандминимуму), согласовали визит моих будущих тещи и тестя (у нас с женой уже было подано заявление в ЗАГС). А в пятом часу утра бабушка сообщила, что деда не стало. Он нашел в себе силы подняться с постели и добраться до кресла. Там и нашла его скорая: острая сердечная недостаточность, отек легких. Так мы и попрощались — без напутствия и без какой-либо театральности. Думаю, такое прощание пришлось бы деду по душе. Он знал, что время расставания близко.

«И времечко не то, и свечка оплыла...

Из всяких веских слов рубахи не сошьешь.

Я должен, должен жить, затем, чтоб ты жила.

Да я и сам живу, покуда ты живешь...»

И все-таки — кем был мой дед? Он не был ученым, хотя по складу ума и широте кругозора вполне мог им быть. Он не был писателем или философом, хотя вся его жизнь прошла в размышлениях. Себя он называл «старым учителем», и в этом была своя правда. Он был хорошим учителем и умел «нести что-то людям», как он любил говорить. Я бы добавил, что он был книжником в старом, почти забытом значении этого слова — он знал и любил книгу, разбирался в книгах и с любовью их собирал. Он был хорошим читателем и собеседником, но главное — он умел слушать. И что особенно отличало моего деда — поглощенность культурой, может быть, преданность ей и потребность в постоянной подпитке — чтением, поэзией, музыкой, спектаклем, серьезным разговором, воспоминанием. Я думаю о том, что, сделав усилие, преодолев разрыв между тем, каков он есть, и тем, каким он мог бы или должен быть, человек приподнимается над собой, становится больше самого себя.

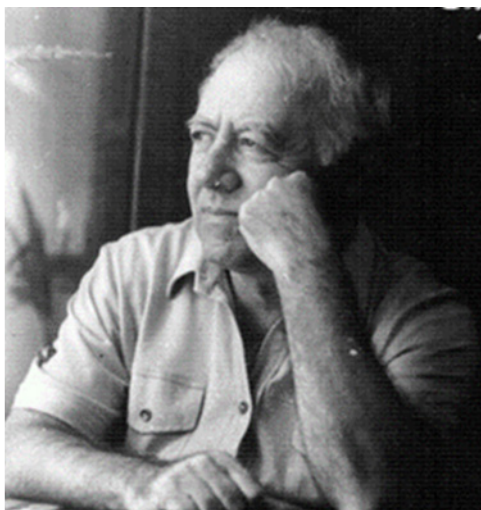
— «А разве может человек стать больше самого себя?» — спрашивал мальчик Джузеппе у своего деда Андреа Гварнери в советском фильме «Визит к Минотавру».

— «Может», — отвечал дед с горькой усмешкой игравшего эту роль замечательного актера Валентина Никулина.

Теперь и мне кажется, что мой дед был больше самого себя, хотя никогда бы не сказал так о себе. Его кредо было: смысл жизни в самой жизни. Он предпочитал простые и краткие ответы, а отвлеченные умствования не приветствовал. Но ежедневное и неослабное противостояние смерти в течение той части его жизни, когда я его знал; неумная тяга к чтению; презрение к обывательскому укладу и идущая от сердца человечность делали его присутствие в жизни опорой и источником утешения, несмотря на то, что в помощи и заботе нуждался он сам. Дед прожил намного дольше, чем пророчили доктора и чем он сам себе отвел. Думаю, его дни продлились для того, чтобы он дольше был рядом с теми, кого любил, и кто любил его. На чувства он был щедр: очень любил маму, брата и сестер, жену, потом не чаял души во мне. И люди любили его — близкие, друзья, студенты, даже соседи. На его 75-летнем юбилее я пожелал быть таким же дедом для своих внуков, каким он был для меня. А бабушка, жившая тогда в зыбком пограничье между унынием и возбуждением, написала ему одно из последних своих стихотворений на случай, которое, увы, не сохранилось, и лишь две строки остались в памяти:

*«Тебе лишь замены не будет вовек,
Еще не родился такой человек!»*

Когда жизнь перестает быть наброском, а пишется набело? Как и другие свои тайны, природа утаивает от человека его собственное взросление. Может быть, оно началось тогда, когда дед и внук вместе бродили по безлюдным аллеям? Когда прощальное рукопожатие сопровождалось неизменным присловьем «Извини, если что не так!», а оборачиваясь, я видел, как дедушка приветливо машет мне вслед?



М. Бондарь. 1986 г. Из семейного архива

УЧИТЕЛЯ

Никого из моих учителей и наставников уже нет в живых. Получив в общении с ними больше, чем знания и навыки, я отдаю дань их памяти в этих очерках-портретах.

ЧАСТИЦА ВРЕМЕНИ ЕФРОСИНЫ ШИРОКОРАД

*Пока в руках у нас частица времени,
Пусть оно работает для нас!
С. Маршак*

Держа путь «с ярмарки», по-другому оцениваешь жизненные впечатления и воспоминания. Выбор профессии, в нашем деле неотделимый от ценностных установок, воспринимается как выбор predetermined и ориентированный на немногие безукоризненные образцы. Презумпция доверия, подтвержденная опытом, остается на всю жизнь незабываемой основой и профессионального, и повседневного поведения.

Мы познакомились с Ефросиньей Фоминичной Широкоград — профессором кафедры русского языка Харьковского национального университета — в ситуации выбора, который в наше время студенты-филологи делали (и, возможно, делают теперь) в начале III курса: записи в научный семинар. Стоит заметить, что этот выбор в те наши девятнадцать-двадцать лет многим казался не слишком значительным. Я же отнесся к нему со всей серьезностью. Особенность научного семинара на харьковском филфаке состояла в том, что занятия в нем обязательно приводили к подготовке дипломной работы, а также predetermined специфику государственного экзамена: специализация в лингвистическом семинаре предполагала экзамен по истории русской литературы

и наоборот — «литературоведы» сдавали весь курс русского языка. Чем руководствовались студенты? И тем, что, как им казалось, будет проще сдавать на V курсе, и тем, кто из преподавателей объявлял набор в семинар и какие темы предлагал. Были бесспорные фавориты, например, профессор А. Д. Михилев с кафедры зарубежной литературы с его темами по модернизму, современной французской, английской и американской литературе, или доцент В. А. Маринчак с кафедры русского языка, отец Виктор, который уже тогда преподавал историю языка и культуры как духовно-символическую и мифологическую реальность. Были и другие семинары, ведущих которых я знал и уважал как своих учителей: семинар Л. А. Быковой («Ложные друзья переводчика: русско-польские параллели») или Г. М. Зельдовича («Слабые смыслы русского языкового выражения», тема, по которой он через несколько лет защитил докторскую диссертацию). У этих преподавателей я попробовал позаниматься несколько раз, но, в конце концов, отказался от предложенных тем, как и от темы по лингвистике текста, которой я немного тогда увлекался. Шли недели, а я все еще оставался без семинара и без научного руководителя. Как это часто бывает в жизни, дело решила случайность или, вернее, не сразу оцененная по достоинству деталь. Моя сокурсница Оля Пащенко выбрала семинар Ефросиньи Фоминичны Широкоград, поскольку ее мама в свое время была дипломницей Е.Ф., и однажды рассказала мне об этом семинаре между прочим. До этого я не был знаком с профессором Широкоград, но в преддверии выбора семинара один важный разговор у нас состоялся: мы пришли к ней вдвоем с моим другом Олегом Ковалем, который учился тогда на II курсе, но был охвачен серьезным научным поиском. В поисках «настоящей» науки мы и попросили Ефросинью Фоминичну о встрече. Я большей частью молчал и слушал, но что-то услышанное и воспринятое тогда заставило меня прийти к ней еще раз, с тем, чтобы уже более не уходить. Выбор семинара был продиктован отчасти тягой к истории языка и славянским древностям, отчасти — тем обаянием, которое не сразу, постепенно привлекало меня, в общем, еще до-

статочно слабо подготовленного третьекурсника, в общении с Ефросиньей Фоминичной. Это было обаяние безыскусной правды, надежности и какой-то глубокой, органичной доброжелательности. Однако у нее была репутация строгого и взыскательного педагога; идти к ней в семинар решались немногие. В конечном итоге нас осталось пятеро. Работа в семинаре строилась индивидуально, с учетом темы каждого студента, а встречи с преподавателем проходили как обсуждение найденных в текстах словоупотреблений, разбор словарных значений и библиографических ссылок. От каждого студента требовалось ведение картотеки, и многие карточки с библиографическим описанием или словарной статьей Ефросинья Фоминична приносила нам сама. После длительных поисков и сомнений (и здесь не обошлось без них), тема была выбрана — «Концепт „чудо“ в языке и культуре восточных славян». После выхода в свет в том же году сборника статей «Логический анализ языка. Культурные концепты» слово «концепт» не сходило с филологических уст; заданное им направление входило в моду. Материал быстро набирался, в основном, за счет этимологических разысканий по слову «чудо» и однокоренных, а также «диво» и многочисленных дериватов. Помимо этого, фиксировалось словоупотребление по литературным памятникам, начиная с древнейших русских житий и заканчивая современной беллетристикой; выявлялся массив словарных значений по всем известным словарям славянских языков. Семинарские занятия продолжались два года, и после них я на «отлично» защитил дипломную работу, а еще через несколько лет продолжил работать над этой темой в аспирантуре. Здесь, по законам жанра, наступает пауза, и сюжетная линия круто сворачивает. Блестящего и победного научного пути не получилось: инерция занятий одной и той же темой, и истощенность прежней методологии, и закрутившийся вихрь «взрослой» жизни (на первом году аспирантуры я женился, а на третьем на свет появился сын), и новые интересы все дальше и дальше уводили меня от призрачной цели. Диссертация тогда не была доведена до целостного состояния и защищена, а статьи, напи-

санные по теме и опубликованные в различных изданиях, так и оставались разрозненным материалом, пока не были собраны мной и изданы отдельным сборником под названием «Этюды о чудесах и текстах» с посвящением памяти любимого учителя. Видимо, все-таки диссертация могла получиться: тема «чуда» и теперь поражает своим потенциалом и многомерностью. Но нет худа без добра: выбранная как альтернатива завершению аспирантуры учеба в магистратуре только открывшегося тогда Центра иудаики и еврейской цивилизации в Институте стран Азии и Африке при МГУ принесла мне не только новую специальность — востоковеда, но и возможность многие годы преподавать любимые исторические и филологические дисциплины в Международном Соломоновом университете, а также новую научную специализацию — иудеославику, междисциплинарную область исследования еврейско-славянских контактов, в которой я тоже сумел найти свою нишу — повести о царе Соломоне, и защитить диссертацию, а после издать книгу. Все это стало возможным во многом благодаря тому, что в свое время я прошел «школу Широкоград», а Ефросинья Фоминична после нашего официального расставания осталась для меня не только Учителем, но другом, советчиком и собеседником; я с удовольствием бывал у нее дома, в тесной квартирке на пятом этаже, где шли наши неторопливые разговоры под неизменный растворимый кофе со сгущенным молоком. Изредка Ефросинья Фоминична посещала и наш дом; мы встречались с ней на заседаниях Харьковского историко-филологического общества, в библиотеке и на конференциях.

Уйдя на пенсию, она продолжала активно трудиться. Университет и кафедра русского языка торжественно отметили в 2008 г. 80-летний юбилей профессора Широкоград, на котором посчастливилось выступать и мне, а затем опубликовать на основе доклада посвященную Ефросинье Фоминичне статью.¹ Так замыкался круг, отдавались старые долги... На этом же юбилейном заседании выступила коллега и соавтор Е. Ф. Широкоград Л. М. Черняк с приветственным словом

«Встреча с Радостью», из которого я впервые узнал, что изысканное древнерусское имя «Ефросинья» — это греческое «радость»! Как же радостно стало мне и как много это открытие объяснило! Ведь если имя человека означает «радость», он, кажется, просто обязан прожить интересную и плодотворную жизнь. К счастью, именно так и сложилась жизнь Ефросиньи Фоминичны.

Придя в Харьковский университет выпускницей послевоенной школы в 1948 году, она не покидала его до последнего дня. В юбилейном издании читаем строки, написанные коллегами по кафедре: «...как историк русского языка Ефросинья Фоминична оказалась приобщена к научной деятельности, требующей предельной точности знания, четкости научных доказательств, обширного языкового материала. Ее личные особенности и принципы жизни стали гарантией безусловного профессионализма в области исторического языкознания. Подвижничество, исключительное трудолюбие, добросовестность как органические свойства личности Ефросиньи Фоминичны предопределили и содержание ее жизни, которая всецело была наполнена педагогической и научной работой». Жить несуетно и в тихой сосредоточенности — привилегия, данная немногим, ценность которой понимают сегодня все меньше. Обдуманная размеренность, дни, наполненные незаметной кропотливой работой, скупость в словах и филигранная точность в выборе слов, негромкая, как бы приглушенная речь, недоверие к публичности, неприятие конформизма, нелюбовь к публичности, — все это было знаками той эпохи и знаками неповторимой личности, чудесным и радостным образом оказавшейся в роли моего учителя и друга. Неоспоримый факт, что своим трудом и жизнью Ефросинья Фоминична бережно хранила филологию, служа ей, но не менее

¹ Бондарь К. В. К вопросу о древнерусской экзотической лексике (гебраизмы) // Вестник ХНУ им. В. Н. Каразина. Сер. Филология. №1014. Вып. 65. 2012. С. 22–25.

важно и то, что филология сама хранила ее, давая возможность работать, жить интересами науки, поддерживать отношения с достойными людьми и привечать тех, кто нуждался в утешительном слове. Как писал У. Х. Оден, «время боготворит язык и тех, кем он жив...»

А ведь сама она была воспитана своими учителями — Николаем Михайловичем Баженовым, Александром Моисеевичем Финкелем, Верой Павловной Бесединой-Невзоровой, о которых всегда рассказывала с трепетом. От этих корифеев ниточка тянется уже к дореволюционной науке, к тем, кто слушал лекции самого Потебни. Благодаря трудам Ефросиньи Фоминичны, ставшей еще и историком университета, собраны и сохранены свидетельства научной деятельности многих ученых, чья жизнь была связана с Харьковским университетом. Центральное место в этом ряду принадлежит Александру Потебне, научному творчеству которого посвящены многие ее публикации. Она воспринимала себя как звено в эстафете научных поколений, хотя прямо никогда не говорила об этом. Надо вспомнить и о том, что Ефросинья Фоминична не делала скидок на чины и положения, не боялась остаться в меньшинстве или оказаться непонятой; больше всего ее заботили правда и справедливость, а ее моральный камертон был настроен весьма точно.

Мы продолжали видеться и общаться с Ефросиньей Фоминичной почти до самого конца. 1 декабря 2010 г., поработав в университетской библиотеке и заглянув на кафедру, она попрощалась с присутствующими и сообщила, что отправляется к родственникам в Шебекино. После этого ее никто не видел, и никому не пришло в голову беспокоиться по поводу ее отсутствия. Несколько дней спустя телефон ее молчал, а когда коллеги, все же заподозрив неладное, наведались к ней домой, в двери они обнаружили телеграмму от встревоженной родни.

Обо всем дальнейшем Ефросинья Фоминична, к счастью, уже не узнала, удостоившись высшей награды ученого — быстрой смерти за рабочим столом, в окружении рукописей и книг. Часто вспоминают эти слова древнего автора: «Подобает фило-



Е. Ф. Широкопад. 2010 г. Фото В. А. Глуценко

логу умирать, работая». Здесь они как нельзя более уместны. Стоя у закрытого гроба в зале крематория, мы слушали о. Виктора Маринчака, который напутствовал ее последним словом, хотя церковного отпевания не было. «Всю жизнь она работала

над собой», — говорил оратор, — «и умерла в доброй старости, насытившись годами, как библейские патриархи». И ученики разного возраста, пришедшие проститься, словно воплощали цепочку поколений, подтверждая правильность выбора, сделанного когда-то Асей Широкоград. Любовь и преданность учеников придавали теплоту ее жизненному пространству. И хотя нет больше маленькой квартиры, от обширной библиотеки остались лишь словари, перевезенные на кафедру, а прах ее покоится в Белгородской области, в далеком Шебекино, с нами всегда будет чудо встречи и радость общения — неторопливого, вполголоса общения с учителем о самых важных вещах в жизни, которая иногда приоткрывает свои заветные тайны тому, кто их взыскует.

ПОД ЗНАКОМ СОЛОМОНОВА УНИВЕРСИТЕТА

Восточно-украинский филиал Международного Соломонова университета присутствовал на академической карте Харькова полтора десятилетия и играл заметную роль в еврейской жизни города.

Время его создания пришлось на бурные годы социальных сдвигов и рождения новых экономических отношений. Украина, прокладывая путь к подлинной независимости, активно искала новые формы во всех сферах жизни, включая образование. Что касается последнего, в 90-е гг. происходили стремительные изменения: институты и техникумы превращались в академии и колледжи, открывались новые факультеты и специальности, а некогда популярные профессии теряли свой престиж. С первых же лет после провозглашения независимости возник вопрос о переходе высшей школы на украинский язык преподавания (так до конца не решенный и поныне), а монополия государства на высшее образование была разрушена открытием коммерческих вузов. С одной стороны, в условиях коллапса плановой экономики финансирование высшего образования было затруднено, с другой — появились возможности

для привлечения частных спонсоров. Традиционные игроки на поле образования, которое постепенно становилось «рынком образовательных услуг», медленно разворачивались к новым формам отношений, но новички быстро открывали отсутствовавшие прежде ниши. В это же время началось бурное возрождение еврейского образования. Международный Соломонов университет в Киеве был одним из первых. Его создание относится к 1992 г. О причинах и цели его открытия размышляли и сами основатели, и последующие аналитики. Еврейские предприниматели, искавшие эффективный путь инвестиций в образование, встретились с профессорами-математиками, заинтересованными в новой формуле сочетания высокой академической планки и экономической свободы. В названии университета не было слова «еврейский», но оно подразумевалось: форма «Соломонов», отсылавшая к имени библейского царя, в то же время актуализировала героическое прошлое еврейского народа, культивировала ценность знания и мудрости. Однако новый университет дистанцировался от национально-религиозной концепции образования и не ставил никаких ограничений в приеме абитуриентов; более того, подчеркивались равные права и возможности для всех студентов. Ориентация на выпускников еврейских школ, вообще талантливую еврейскую молодежь, важная для создателей университета, была все же не главной — целью учредителей была как можно более широкая популяризация знаний по иудаике и укрепление межнационального и межконфессионального согласия в стране.

Надо сказать, что успех нового начинания был велик; достаточно быстро весть о новом университете распространилась по Украине, и туда потянулись способные выпускники. Среди конкурентных преимуществ нового вуза, помимо невысокой платы за обучение, небольших академических групп и лучших университетских преподавателей, существовала и перспектива зарубежных контактов, что в те времена было совершенно ново. Эпитет «международный» предполагал приглашение с лекци-



Б. С. Элькин. 1999 г.

ями зарубежной профессуры и научные связи с университетами, прежде всего, израильскими.

Постепенно формировалась научная база «соломоновцев» — появлялись собственные университетские традиции (посвящение в студенты, посвящение в археологи, свой гимн), расширялись аудитории, комплектовалась библиотека. На волне интереса к новому учебному заведению и в условиях укрепления еврейской общины Харькова, при счастливом стечении нескольких обстоятельств, о которых пойдет речь даль-

ше, в Харькове был открыт Восточно-украинский филиал университета. День подписания уставных документов — 8 апреля 1998 г. — стал праздником, который затем всегда праздновался в коллективе. Основатели филиала сделали ставку на привлечение лучших университетских преподавателей и набор незаурядных студентов. В начале существования харьковского филиала это привело к невероятной концентрации в его стенах научной мысли и преподавательской культуры, к появлению высокой академической репутации и серьезного общественного резонанса не только в Харькове, Украине, но и за рубежом. Что касается международного сотрудничества, речь шла, прежде всего, о Центре иудаики и еврейской цивилизации ИСАА при МГУ, начавшем свою работу одновременно с Восточно-украинским филиалом, и о студенческих программах Еврейского университета в Иерусалиме.

Учебные планы формировались совместно с главным офисом в Киеве, московскими академическими структурами и Еврейским университетом в Иерусалиме. Нетривиальный подход к строительству Восточно-украинского филиала стал следствием благоприятных обстоятельств. Первое — сама личность основателя филиала и его первого директора. Им стал математик, научный сотрудник университетского мехмата, опытный организатор и педагог Борис Элькин (1947–2011). Его имя было уже известно харьковской научной общественности. За плечами у него была четверть века преподавательской и административной работы на факультете и в лаборатории (Борис Соломонович еще в 1980-е гг. руководил большим коллективом, выполнявшим прикладные разработки по хозяйственным договорам). Этот советский опыт маркетинга и менеджмента стал незаменимой опорой в руководстве филиалом. Вторым немаловажным фактором успеха на старте стали многочисленные контакты Бориса Соломоновича, хорошо знавшего руководителей и участников образовательного процесса в городе. Не стоит забывать и о бизнес-связях, позволивших быстро сформировать эффективный попечительский совет. К триаде ключевых факторов успеха сле-

дует добавить участие в становлении филиала старшего сына Бориса Элькина, Зеэва, работавшего в те годы в Еврейском университете в Иерусалиме и способствовавшего привлечению к новому начинанию израильских академических и политических структур.

Состав студентов в университете всегда был смешанным: наблюдался постоянный приток еврейской молодежи, но, в то же время, в Соломонов охотно поступали и украинцы, и представители других народов Украины. Сделав ставку на открытость и доброжелательность, внимательное отношение к каждому студенту, полную прозрачность взаимоотношений с преподавателями и администрацией, университет тем самым создал репутацию надежного и ответственного учебного заведения. С первого курса студенты всех специальностей получали подготовку по истории и традициям еврейского народа, языку иврит (для студентов-историков — обязательно, для всех остальных — факультативно). В учебном плане исторического факультета были представлены курсы по еврейской литературе, истории Израиля, еврейско-украинским связям. Таким образом, на протяжении всех лет обучения студенты постоянно соприкасались с еврейской проблематикой. Не стоит забывать и о том, что университет был всегда тесно связан с еврейской общинной жизнью: преподаватели и студенты участвовали в еврейских праздниках, мероприятиях еврейского общинного центра, летних лагерях «Сохнута» и «Джойнта», а среди гостей всех университетских мероприятий неизменно присутствовал харьковский раввин р. Моше Москович, сотрудники еврейских школ, представители городских еврейских организаций. Символом вклада соломоновцев в еврейское краеведение стала карта-путеводитель «Еврейские адреса Харькова», подготовленная преподавателями и студентами и выпущенная в свет в 2010 г.

Важно подчеркнуть, что Харьков неслучайно первым из нестоличных городов постсоветского пространства стал центром возрождения еврейских и, в частности, хазароведческих исследований. Именно здесь в 1902 г. прошел XII Всероссийский

археологический съезд, который привлек внимание научной общественности к Салтовскому городищу, давшему имя археологической культуре. Здесь в течение нескольких десятилетий предпринимались попытки изучения салтово-маяцких памятников. Здесь на исторических факультетах и государственного, и педагогического университетов, в отделе археологии исторического музея сложились традиции полевой хазароведческой работы.

Хазарский каганат был раннесредневековым государственным образованием, объединившим ряд народов Восточной Европы и занимавшим значительную территорию. Первоначальным ареалом обитания хазар в Восточной Европе стали степи северо-западного Прикаспия и предгорья Дагестана. Согласно историческим исследованиям, Хазарский каганат принял иудаизм в качестве государственной религии и в течение полутора столетий сохранял его; он был одним из наиболее мощных государств Восточной Европы конца I тыс. н. э., повлиявших на расстановку политических сил того времени, процессы сложения многих раннесредневековых этносов. На территории Хазарии обитали ираноязычные племена алан и тюркоязычных праболгар, являвшихся носителями Салтовской культуры. Они оказывали воздействие на славянские племена во время расцвета Хазарского каганата, составляли часть населения древнерусских княжеств в XI–XII вв. Постепенно славянизируясь, они вошли в состав украинского казачества, влив свой генофонд и элементы своей культуры в формирование украинского народа. Салтовская культура населения Хазарского каганата — одна из наиболее ярких культур раннего средневековья, привлекающая своей самобытностью внимание советских и зарубежных исследователей. В середине 1980-х гг. вышла в свет монография известного харьковского археолога В. К. Михеева (1937–2008) «Подонье в составе Хазарского каганата»¹, и тогда же была защищена его докторская диссертация. Работы профессора Михеева, отчеты и публикации его учеников и аспирантов вместе с трудами его коллег по другим кафедрам составили основу Харьковской школы хазароведения. Поэтому совершенно естественно, что, когда

в 1998 г. возник Восточно-украинский филиал Международного Соломонова университета, он взял на себя роль основного спонсора и локомотива исследований хазарской проблематики, испытывавших трудности, как и все отрасли науки в те годы. Вместе с тем, первые шаги нового вуза в Харькове тоже были необычайно трудны, как труден всякий путь к новой цели. Тем более важно подчеркнуть роль тех людей, что стояли у истоков этого движения: их имена и заслуги подготовили расцвет современной иудаики.

Владимир Кузьмич Михеев был человеком той эпохи, в которой непреходящие ценности преобладали над текущими интересами; его присутствие ощущалось как мера вещей в науке, а свободная, насыщенная глубокими познаниями и широтой восприятия манера чтения лекций навсегда запомнилась его слушателям. Борис Соломонович Элькин, умевший мыслить масштабно и стратегически, видевший картину во всей полноте, умело вел корабль по сложному и извилистому курсу. Эффективное сотрудничество этих двух людей привело к тому, что в течение нескольких лет харьковская школа иудаики и хазароведения уверенно держала высокую планку качества и достойно представляла свои результаты на международных форумах. При этом внешние обстоятельства никогда не были благоприятными, а недоброжелателей было с избытком. Поэтому можно сказать, что все, связанное с историей Соломонова университета в Харькове, проходило «против течения». Команда Элькина состояла из единомышленников — Инны Семеняк (1935–2012), экономиста, профессора Харьковского университета; Александра Кошция (1950–2015), первого декана филиала, математика, стоявшего у истоков компьютерного факультета; Валерия Пикалова (1939–2017), историка, организатора работы на историческом факультете; Игоря Зусмановского (1939–2013), ставшего куратором

¹ Михеев В. К. Подонье в составе Хазарского каганата. Харьков: Высшая школа, 1985.



В. К. Михеев. 2008 г

и опекуном первого, да и всех последующих студенческих наборов, и других энтузиастов. Кстати, среди многих организаторских талантов Бориса Элькина едва ли не главным было умение подбирать и расставлять сотрудников. Помимо проверенных годами совместной работы, опытных специалистов директор филиала привлекал и молодых, недавних выпускников, аспирантов, которые должны были включиться в работу и со временем играть все более важную роль. Так пришли на работу в университет Юлия Укис, Виталий Тихий, Ирина Горячевская. В 1999 г. к этой блестящей команде присоединился и автор этих строк, решительно сменивший жизненный и профессиональный путь, предпочтя окончанию аспирантуры и возвращению на кафедру украинского языка в техническом вузе специализацию по востоковедению в Центре иудаики и еврейской цивилизации в Московском университете с последующей работой в харьковском филиале.

Владимира Кузьмича Михеева и Бориса Соломоновича Элькина нельзя назвать моими учителями в прямом смысле этого слова, но я учился у них чему-то большему, чем специальности:

искусству работы в коллективе, поведению в аудитории, быстрому принятию решений, гибкой оценке компромиссов и чувству ответственности.

Лицо исторического факультета, его престиж и авторитет у научной общественности создавал профессор Михеев, с 2001 г. перешедший на постоянную работу в филиал, а в 2002 г. возглавивший кафедру истории. Важнейшей заслугой Владимира Кузьмича и визитной карточкой его стиля было желание и возможность развивать хазароведческие исследования и высокие стандарты харьковской исторической школы. С 1999 г. регулярно проводились археологическая практика и археологическая экспедиция на Салтовском археологическом памятнике. Ее оформление и признание произошло в 2000 г. после создания Международного центра хазароведения и проведения первой харьковской летней школы по иудаике. Все последующие годы профессор Михеев и его ученики плодотворно работали на Нетайловском могильнике Салтовской археологической культуры. История изучения этого памятника достойна отдельного описания; отметим лишь, что, открытый в 1959–1961 гг. археологической экспедицией Института археологии АН Украины, он считался утраченным после создания в 1961 г. Печенежского водохранилища. Новое открытие могильника состоялось в 1991 г. отрядом экспедиции Харьковского университета под руководством А. В. Крыганова. В 2000-е гг. к исследованию памятника подключились специалисты и студенты Международного Соломонова университета. Вообще, важнейшим направлением исследовательской деятельности филиала являлось историческое, с уклоном в иудаику: здесь велась разработка таких тем, как «История, археология, источниковедение Хазарского каганата» и «Еврейско-славянские межкультурные связи». Можно сказать, что исследования по иудаике в Соломоновом университете были сосредоточены в основном в Харькове.

Итак, университет возник и развивался как современное учебное заведение с ориентацией на классические традиции

и современный европейский уровень преподавания и взаимоотношений преподавателя и студента. И хотя в уставе и программных документах университета не декларировался его еврейский характер, внимание к дисциплинам иудаики, специализация студентов в соответствующих областях, тесная связь с университетами Израиля сделали Соломонов единственным вузом Украины, представлявшим в те годы модель академического еврейского образования. В наши дни в Киеве работает магистерская программа по иудаике Киево-Могилянской академии, а во Львове гебраистика развивается в Украинском католическом университете. Следует упомянуть и о важном опыте Острожской академии, начавшей проводить летние школы по гебраистике в 2016 г. Однако в конце 1990-х гг. наш опыт был уникальным.

Одним из самых серьезных начинаний в харьковской академической иудаике стала летняя школа по еврейским исследованиям, которая проводилась в 2000–2006 гг. Словосочетание «летняя школа» хорошо известно каждому, кто знаком с историей науки последних десятилетий. Так, в 1960-1970-е гг. Ю. М. Лотман организовал в Тарту летние школы по семиотике и истории культуры. Это было уникальным явлением: сочетание свободного режима работы, академической строгости, определенного свободомыслия с неформальным общением приводило к появлению новых идей, быстрому творческому росту молодых ученых.

Школа по иудаике впервые на постсоветском пространстве прошла летом 1998 г. в подмосковном Менделеево. Она явилась частью масштабных мероприятий по развитию этой области знаний, наряду с ежегодной международной студенческой конференцией, открытием Центра иудаики и еврейской цивилизации в ИСАА при МГУ, проведением месячных стажировок в Еврейском университете. Именно наш филиал оказался достойным чести организовать и провести первую школу по иудаике в Украине летом 2000 г. Партнерами этого смелого проекта явились Еврейский университет в Иерусалиме, Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» (Москва), Еврей-

ское Агентство «Сохнут», Американский еврейский объединенный распределительный комитет «Джойнт». Преподавать на школе согласились ведущие специалисты в различных областях иудаики: М. Вайскопф, З. Копельман, В. Чернин, З. Ханин, В. Мочалова, З. Элькин. Без преувеличения, к первой харьковской школе было приковано внимание научной общественности в еврейских исследованиях разных стран мира. Так родилась важная традиция харьковских школ. Постепенно установилась специфика: в соответствии с основными темами работы филиала, школа была посвящена истории и культуре евреев Восточной Европы. Ее главной особенностью был археологический практикум по хазароведению под руководством профессора Михеева. В экспедициях Михеева получали полевой опыт и проходили «посвящение в археологи» как харьковские студенты, так и участники летних школ. Высокий научный уровень экспедиций подтверждается участием в них авторитетных специалистов (так, в экспедициях 2003–2004 гг. принимал участие профессор В. Я. Петрухин; в экспедиции 2004 г. работали известные археологи И. Аржанцева (Москва) и Н. Май (Иерусалим). Харьковская школа была международной: она собирала участников из России, Беларуси, стран Балтии и Центральной Азии. Среди многообразия летних школ отчетливо выделялся неповторимый облик харьковской школы с ее неподдельным радушием, щедрым приемом, доброжелательной творческой атмосферой.

С 2002 г. филиал выпускал специализированное научное издание — «Хазарский Альманах», в котором публиковались материалы и статьи широкого спектра по истории, археологии, источниковедению, историографии стран Восточной Европы, Крыма, Кавказа, Закавказья и других областей, связанных с хазарским наследием. Издание получило известность среди специалистов и полюбилось им: сегодня, когда нет в живых основателя и первого главного редактора Альманаха, В. К. Михеева, а также его преемника на этом посту и ученика профессора А. А. Тортики, Альманах продолжает выходить, и его очередного тома ждут читатели в разных странах. В 2019 г. вышел

в свет уже 16 том издания. В поддержании этой преемственности велика заслуга проф. В. Я. Петрухина и нынешнего главного редактора проф. О. Б. Бубенка.

С первого года существования Восточно-украинского филиала установилась практика проведения студенческой научной конференции. В конференции участвовали студенты всех курсов и факультетов, по историческому, экономическому, компьютерному направлениям. По итогам конференции ежегодно выпускался сборник тезисов докладов под названием «История. Компьютерные науки. Экономика». В соответствии с проблематикой научных исследований филиала, ежегодно работала секция истории и культуры еврейского народа (в рамках этой секции студенты представляли доклады по всему спектру иудаики, от истории евреев в древности и средние века, хазароведения и истории евреев Восточной Европы до проблем современного израильского общества, общин диаспоры, деятельности Открытого университета Израйля).

Интересным образовательным проектом была и научная конференция старшеклассников. Эта конференция стала традиционной и проходила в дни весенних школьных каникул. Обычно работало несколько секций: история и культура народов мира, история Украины, история еврейского народа, археология. Лучшие доклады поощрялись ценными подарками, а участники становились слушателями школ по иудаике, получали возможность дальнейшего разнообразного участия в научной жизни. Начиная с 2006 г. появилась новая концепция проекта, показавшая свою эффективность. Конференция изменила название — она стала называться «Мир вокруг нас»; существенно расширился тематический диапазон докладов, включавший не только историю, но и экономику, компьютерные науки, иностранные языки. Проведение конференции в таком формате стало еще одним из постоянных проектов университета, создавших ему репутацию серьезного учебного заведения с высокими требованиями к работе, с заботой о распространении научных знаний среди студентов и школьников, о привлечении талантливой молодежи.

Университет выпускал в жизнь людей, усвоивших знания об иудаизме и еврейской культуре, которые не оставляли места домыслам и спекуляциям. Его выпускники получали опыт общения со сверстниками разных национальностей и вероисповеданий. Преподаватели по мере сил старались показать им, что жизненный успех, как и неудачи, зависит только от них самих.

Академическая иудаика в постсоветских странах завоевала университетские позиции: налажена система подготовки научных кадров, действует профессиональное сообщество со своим рейтингом публикаций, научных форумов и экспертным инструментарием. Путь к этому, казалось бы, естественному положению в науке после десятилетий отставания и замалчивания был извилист, и даже сейчас сказываются трудности роста. Увы, Международный Соломонов университет не смог преодолеть эти трудности — в условиях перманентного экономического и политического кризиса обеспечивать необходимый стандарт научной и учебной работы становилось все труднее, и в 2014 г. состоялся последний выпуск специалистов.

Борис Соломонович Элькин любил повторять: «Титаник» строили профессионалы, а Ноев ковчег — любители. Держайте!» и сам в полной мере соответствовал этой максиме. Он любил в людях смелость и готовность рисковать и строил свое детище как дерзновенный порыв в неизведанное. Быть участником этого порыва, помнить о нем, когда уже никого из основателей филиала нет в живых, — редкий подарок и незабываемый опыт.

«ПРИЗНАЮСЬ: Я ЖИЛ...» ЛЕОНИД ФРИЗМАН

С 2006 г. моим научным руководителем был известный харьковский литературовед, историк общественной мысли, исследователь русской литературы XIX-XX вв., текстолог, публицист, педагог Леонид Генрихович Фризмман (1935–2018). Вся его жизнь и деятельность прошла в родном городе, хотя его имя знакомо коллегам далеко за пределами Украины и стран бывшего Союза. Более полувека он продуктивно работал в нау-



Л. Г. Фризман. 2018 г. Фото Г. И. Ганзбурга

ке, создал собственную школу и выпустил несколько десятков кандидатов и докторов наук. Будучи одним из самых поздних учеников Леонида Генриховича, я имел возможность общаться и сотрудничать с учителем последние десять лет, и в этой небольшой заметке мне бы хотелось отметить некоторые уроки его деятельной жизни.

Первым и главным уроком является сама его незаурядная биография. К счастью, Леонид Генрихович прожил большую жизнь, и теперь, оглядываясь назад, можно утверждать, что она прошла на одной ноте, в едином стремлении — как можно полнее реализовать призвание, раскрыть и применить данный ему Богом дар. Семейные традиции и воспитание рано сформировали в нем широкий кругозор, вкус к поиску, любовь к знаниям, критичность мышления. Не надо забывать, на какое время пришлось юность Фризмана, окончившего школу и поступившего в пединститут в 1953 г. В этих беспрецедентных условиях выживания — корни его последующей настойчивости в достижении

цели, навыков бойца, гибкости и необычайной трезвости ума. Решив еще на студенческой скамье заниматься наукой, Леонид твердо понимал, что в аспирантуру его не примут. Единственной возможностью работы по специальности была вечерняя школа. Из юноши получился толковый учитель. Он полюбил эту профессию, и она отвечала ему взаимностью; ученики по достоинству ценили своего наставника. Работу в школе он совмещал с научными поисками и «без отрыва от производства» подготовил, а затем с немалыми трудностями защитил кандидатскую диссертацию. Лишь через несколько лет после этого он смог добиться работы по совместительству на кафедре иностранных языков в вузе, а только после представления докторской диссертации — места на кафедре русской литературы. Тогда ему исполнилось сорок лет, и все основные его профессиональные достижения связаны со второй половиной жизни. Так было и у Д. С. Лихачева, с которым Л. Г. Фризман был близко знаком и много общался в 60-70-е гг. и который оказал ему поддержку в защите кандидатской диссертации.

Блистательная защита в МГУ в 1977 г. докторской диссертации «Русская элегия в эпоху романтизма» открыла самый плодотворный этап деятельности ученого. В 1980 г. он стал профессором, и на кафедре была создана аспирантура. Одну за другой он выпускал монографии, готовил к изданию литературные памятники и поэтические сборники, руководил аспирантами и выступал оппонентом на защитах во всех уголках страны. Статьи Фризмана печатались в ведущих научных журналах, он был знаком и поддерживал сотрудничество с крупнейшими историками литературы — М. П. Алексеевым, Д. Д. Благим, В. Э. Вацууро, М. Л. Гаспаровым, А. Л. Гришуниным, Б. Ф. Егоровым, Б. С. Мейлахом, С. А. Рейсером, Г. М. Фридлендером, Е. Г. Эткиндром и другими. Это был пик жизненного и творческого пути харьковского литературоведа.

События начала 90-х заставили уже немолодого ученого научиться работать в резко изменившихся условиях, но не привели ни к отказу от профессии, ни к снижению уровня разработки

проблем. Однако они сказались на перспективах публикаций и географии научной деятельности. Постепенно возможность публиковать свои труды стала исключительно платной. Это потребовало от профессора освоения навыков маркетинга и менеджмента, и надо отдать ему должное — он освоил их не хуже своих более молодых коллег. В 2000-е и 2010-е годы Леонид Генрихович работал с завидной отдачей и результативностью.

Будучи для Харькова уникальной и даже резонансной фигурой, Фризман не мог не нажить врагов и недоброжелателей. Пожалуй, их у него было с избытком. Привыкнув бороться с обстоятельствами и не избалованный подарками судьбы, он воспринимал их как неизбежное зло и продолжал работать. Не могли сломить его ни личные невзгоды, ни семейные трагедии. Впрочем, друзей и поклонников таланта Леонида Генриховича тоже было немало, свидетельством чему служат сборники статей к двум его юбилеям¹. С молодости привык он в работе черпать силы и вдохновение, и, закончив очередную книгу, тут же садился за другую. «Я не умею сидеть без дела», — часто слышал я от профессора в последние годы.

Еще одним уроком Фризмана можно считать его подходы и решения как текстолога, публикатора и комментатора. Начав свою деятельность с изучения почти забытого в то время Баратынского, Леонид Фризман подготовил и издал книгу «Творческий путь Баратынского» еще до защиты кандидатской, а после получения степени продолжил работать над текстологией поэта. Параллельно в Норвегии русским поэтом заинтересовался крупный славист Гейр Хьетсо. Его диссертация, также посвященная Е. А. Баратынскому, была защищена в 1969 г., а в 1973 г. вышла в свет монография². Переписка и сотрудничество двух выдающихся исследователей Баратынского продолжались много лет и стали значимым фактором развития науки о литературе. Ито-

¹ Наука и жизнь. Харьков, 2010; Сквозь литературу. Киев, 2015.

² Хьетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Осло-Берген-

гом двадцатилетних поисков Л. Г. Фризмана стали два непревзойденных издания — в сериях «Литературные памятники»³ и «Библиотека поэта»⁴. Эти издания во многом полемичны по отношению к предшествующему — сборнику Баратынского в «Библиотеке поэта» 1957 г. Текстологическое кредо Фризмана ясно сформулировано им в статье «Проблемы текстологии Баратынского», сопровождающей издание 1982 г.: «Никакие соображения, не опирающиеся на историю текста — субъективные, вкусовые и проч., — не могут служить основанием для отвержения одной редакции и предпочтения другой». И другая важная мысль: во всех элементах текста — заглавии, чтении отдельных стихов и т. д. — следует непротиворечиво придерживаться последней авторской воли. Работая над изучением и подготовкой к изданию стихотворений Баратынского, Л. Г. Фризман столкнулся с нерешенными проблемами истории «Дум» Рылеева и журнала Киреевского «Европеец». И в том, и в другом случае есть связь с творчеством поэта: Рылеев и Бестужев входили в его ближний круг общения и на каком-то этапе были близки ему эстетически, а в журнале Киреевского Баратынский печатался. В результате появились два издания в «Литературных памятниках» — «К. Ф. Рылеев. Думы»⁵ и «Европеец. Журнал И. В. Киреевского»⁶. Последнее он считал важнейшей своей научной заслугой. О судьбе альманаха «Северные цветы» тоже следует вспомнить. Было давно понятно, что альманах заслуживает современного

Тромсё, 1973.

³ Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. (Литературные памятники). Москва: Наука, 1982.

⁴ Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений (Библиотека поэта, большая серия). СПб., 2000.

⁵ Рылеев К. Ф. Думы Москва: Наука, 1975. (Литературные памятники).

⁶ Европеец. Журнал И. В. Киреевского. 1832. Москва: Наука, 1989. (Литературные памятники).

научного издания. Но как его осуществить? Ведь вышло 8 выпусков, и каждый из них был вехой в истории русской литературы. Несколько лет филологи обсуждали принципы отбора, и когда было решено, что в качестве памятника нужно издать том на 1832 г., тот самый, который в память о Дельвиге взялся издать Пушкин, оказавшись таким образом в первый и последний раз в роли издателя альманаха, Фризман решил эту задачу блестяще¹. Еще дважды довелось Леониду Генриховичу выпустить книги в знаменитой серии, годы спустя. Это были «В стихах и прозе» Бориса Чичибабина² и «Марфа, посадница Новгородская» Михаила Погодина³. В последнем издании автору этих строк посчастливилось поучаствовать вместе с учителем, и этот опыт можно отнести к числу важнейших профессиональных впечатлений. Именно Фризману принадлежала идея издать в качестве дополнений полностью и в отрывках все произведения, посвященные теме Марфы-посадницы за полтора столетия ее бытования, и это стало открытием в нашей книге. Как любил повторять он вслед за Лихачевым, «в каждой нашей книге должно быть пусть маленькое, но открытие». Всякий раз, когда Фризман брался за подготовку и выпуск книги, он помнил об этих словах. И такие открытия сопровождали его последние работы: «Многообразие и своеобразие Юлия Кима», «Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе», «Иван Франко: взгляд на литературу».

Мне, увы, не довелось пройти школу Фризмана от начала до конца; я попал к нему на завершающем этапе подготовки диссертации. Но я считаю нашу встречу счастливым событием и большой удачей. Насколько же больше смогли почерпнуть

¹ Северные цветы на 1832 г. Москва: Наука, 1980. (Литературные памятники).

² Б. Чичибабин. В стихах и прозе. Москва: Наука, 2013. (Литературные памятники).

³ М. П. Погодин. Марфа, посадница Новгородская. Москва: Наука, 2015. (Литературные памятники).

у наставника те, кто учились у него со студенческих лет до защиты — кандидатской или докторской! И в педагогическом университете он оставался любимым учителем для своих многочисленных — всего более 60 — учеников.

Леонид Фризман был патриотом своей страны. К тому же он был убежденным демократом и сторонником свободы. Всему этому он не учился специально, а вынес из родительского дома, получив памятную прививку от социальных иллюзий и заблуждений в глухие годы молчания и «железного занавеса». И поучительно, что именно поэтому, любя отчизну «требовательной любовью» (так называется одна из его книг, посвященная А. Т. Твардовскому), Фризман был непримирим к злоупотреблениям чиновников и бюрократов, к бездарности и глупости тех, от кого зависит принятие решений; выступал в прессе с критикой социальных язв, подавал свой голос в защиту тех, кто в ней нуждался, обращал внимание на ошибки в языковой и культурной политике, в управлении образованием, в стратегии развития науки. Начиная с 90-х его многогранная личность дополнилась еще одной гранью — политического публициста, и с тех пор харьковские читатели, даже далекие от литературоведения, знали имя Леонида Фризмана по газетным статьям. Их набралось так много, что в 2000 г. они вышли отдельным сборником под названием «Эти семь лет»¹. В последние годы его основной трибуной были харьковские газеты «Время» и «2000», на страницах которых он с особенной настойчивостью напоминал о необходимости сохранения русско-украинских культурных связей, отстаивал права русского языка в современной Украине.

Патриотизм начинается с любви к «малой родине». И здесь Фризман был верен себе. Харьков всегда был для него самым любимым местом на свете. В предисловии к одной из своих книг — «Остроумный Основьяненко» — он посвятил родному го-

¹ Фризман Л. Г. Эти семь лет. Публицистические этюды. Харьков, 2000.

роду такие строки: «...как и Квитка, я в Харькове родился и прожил всю жизнь. Всегда любил поездки, исколесил немало городов и стран, но никогда и никуда не помышлял переселиться. Самые душевные ощущения, на какие я способен, я испытывал, когда возвращался домой... Я не умею описать перемены, произошедшие в нашем городе, так искусно и вдохновенно, как описал Квитка перемены, произошедшие на его глазах, но пережитое мной самим помогает мне лучше понять его чувства, тот неподдельный восторг, который вызывал в его душе любимый город».

...Первое, что бросается в глаза при знакомстве с жизнью и творчеством Леонида Генриховича, — это удивительная сила и цельность его личности. Он обладал титанической работоспособностью, и в прямом смысле слова ни дня не проводил вне письменного стола, в последние годы — без компьютера, который он освоил вполне и который стал его творческой лабораторией. В последние 5–7 лет нормой для профессора Фризмана стало ежегодно выпускать книгу в несколько сотен страниц. Уход на пенсию добавил ему энергии и вдохновения, и он с удовольствием называл себя «свободным художником». Даже на отдыхе, куда он традиционно отправлялся каждый август, Леонид Генрихович работал за переносным компьютером. Среди его любимых выражений — «я человек будней, праздников у меня нет». Конечно, праздником был каждый добытый факт, каждое открытие. Отточенный десятилетиями механизм работал практически без сбоев, восхищая окружающих примером творческого долголетия. Казалось, оно неисчерпаемо. Работа ума чередовалась с тренировкой тела — каждый день Леонид Генрихович плавал в своем любимом бассейне. Не желая поддаваться возрасту и подступавшим болезням, он боролся с ними по-своему, сохраняя образ жизни и привычки не старого, а скорее, молодого человека. Лишь однажды механизм дал сбой — в первый и последний раз. Сказав как-то, что «нужно умереть, имея планы на завтра», профессор напророчил свою судьбу. Он умер, придя в бассейн, отвлечшись только на несколько часов от напряжен-

ной работы над книгой о Науме Коржавине и намереваясь после вернуться к ней.

Верно определив свое призвание и место в жизни, Леонид Фризман смог прожить именно свою, только ему предназначенную жизнь, не по чужому лекалу, а выстроенную путем проб и ошибок. Теперь, когда этот яркий путь окончен, нам предстоит стать свидетелями его инобытия — продолжения того, что он успел сделать при жизни, ибо не все кончается со смертью.

ЮБИЛЕИ

Журнал «Русский язык, литература, культура в школе и вузе» выходил в Киеве благодаря русистам — энтузиастам своего дела, и в каждом номере была рубрика «Юбилейные чтения», где печатались небольшие заметки к памятным датам известных деятелей русской культуры. К сотрудничеству с журналом меня привлек научный руководитель, Л. Г. Фризман, и так появились собранные здесь очерки-«юбилейные здравицы».

«КТО ЗНАЕТ ДЯДЮ ИРИНЕЯ?..» ВЛАДИМИР ОДОЕВСКИЙ

Мой учитель не занимался Владимиром Одоевским специально, хотя был руководителем диссертации о нем¹ и, конечно, знал основные работы из посвященной ему обширной литературы. В частности, высоко ценил книгу крупнейшего специалиста по Одоевскому М. А. Турьян² и рекомендовал мне обратиться к ней за консультацией, когда я на одном из этапов своих поисков заинтересовался этим писателем и предполагал заняться его творчеством в дальнейшем. Из этих планов реализовалась лишь малая часть, зато в таком аспекте, который, насколько мне известно, другими исследователями подробно не разрабатывался. Речь идет о вкладе В. Ф. Одоевского в становление демократической литературы. Это тем более интересно, что сам он был да-

¹ Козорог О. В. Фантастика и реальность в «Пестрых сказках» В. Ф. Одоевского. Харьков, 1999.

² Турьян М. А. Странная моя судьба (О жизни В. Ф. Одоевского). Москва, 1991.

леко не легко доступным автором, а литература для «низового читателя» в его время не выходила за рамки лубочных листов, календарей и сказочных повестей, насчитывавших не одно столетие, но в середине XIX века казавшихся устаревшими и бесполезными.

Удивительная личность В. Ф. Одоевского, выразившаяся в его литературном творчестве, общественной деятельности, издательских начинаниях, имела еще одну, очень важную грань — заботу о благе современников. Помимо неустанной работы в учреждениях, комитетах и собраниях, членом которых он был, Одоевский считал необходимым создавать полезное и понятное грамотному ремесленнику или крестьянину чтение. Важность этой задачи он осознал одним из первых среди русских писателей: намного позже ее подхватил Толстой, писавший для издательства «Посредник», Гаршин, Короленко и другие. При этом важно помнить, что достаточные условия для роста народной грамотности и литературы для народа появились после реформ 1860-х гг., а Одоевский начал свою работу в конце 30-х — в 40-е гг., в эпоху, когда она была в диковинку. Как писал А. Ф. Кони, «одной из выдающихся сторон литературной деятельности Одоевского была забота о просвещении народа..., забота тем более ценная, что крайне редко встречалась в то время и многими рассматривалась как странное чудачество»¹.

Создавая «Сказки дедушки Иринейя», печатавшиеся по мере написания и вышедшие отдельным изданием в 1841 г., писатель ввел в русскую литературу образ чудаковатого рассказчика-мудреца, «магистра философии и члена разных ученых обществ» Иринейя Модестовича Гомозейки. Этот-то дедушка Ириней и рассказывал сказки, адресованные, прежде всего, конечно, маленьким читателям. Сказки «одинаково чуждые как деланной сентиментальности, так и слишком раннего ознакомления детей

¹ Кони А. Ф. Князь В. Ф. Одоевский // Энциклопедический словарь. Т. XXI-а. СПб.: Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, 1897. С. 749.

с ужасами жизни и ее скорбями» были важным событием в литературе: А. Ф. Кони, верно, думал о своем поколении, когда вспоминал, что «для людей, детство которых совпало с 50-ми годами, „Червячок“ и „Городок в табакерке“ остались памятными на всю жизнь».

Для взрослых грамотных людей из народа Одоевский тоже писал нечто вроде сказок, но это был уже не «дедушка», а «дядя Ириней», не магистр и ученый, а мужик, чьи «грамотки» появлялись на страницах журнала «Сельское чтение», изданного впервые в 1844 г. и затем выходившего в свет многочисленными переизданиями на протяжении двух десятилетий. Подготовка и выпуск журнала были частью масштабной деятельности сторонников реформ; соратником Одоевского в этом начинании был А. П. Заблоцкий-Десятовский — просветитель, экономист, статистик, чиновник Министерства государственных имуществ и редактор министерского журнала. Он знал жизнь крестьянской России из собственного опыта: в 1841 г. объехал внутренние губернии для изучения положения крестьян и представил записку «О крепостном состоянии в России», в которой рассматривал крепостное право со всех сторон — хозяйственной, нравственной и политической; реформа 1861 г. во многом учитывала оценки и рекомендации Заблоцкого. Соединив практическую сметку, административный опыт, любовь к народу, художественный талант и бескорыстное желание послужить на пользу общему делу, издатели получили великолепный результат: книжки журнала разошлись более чем 30-тысячным тиражом; свои материалы для публикации предоставили Вельтман, Даль, Загоскин, Карнович, Соллогуб. Этот колоссальный успех Белинский объяснял как глубоким знанием быта, потребностей и самой натуры русского крестьянина, так и талантом, с каким издатели сумели воспользоваться этим знанием: «...эта книга, не принадлежа собственно к тому, что обыкновенно называется „литературою“, — тем не менее принадлежит к важнейшим произведениям современной литературы и весом своей внутренней ценности перетянет многие пуды романов, повестей, драм — даже

„патриотических“... „Сельское чтение“ знает, с кем имеет дело, и не потчует паштетами того, кому калач в сласть и лакомство. В книгах такого рода обыкновенно думают, что дело в шляпе, если наговорили с три короба нравоучений: „Сельское чтение“ понимает, в *каком* нравоучении нуждается наш народ, и, как искусный врач, оно не лечит от подагры человека, который пьет не шампанское, а сивуху. Внушая простому человеку правила религии, преданность и благодарность престолу, „Сельское чтение“ постоянно держится в сфере быта и положения простого человека, — в сфере чисто практической»¹.

Журнал был попыткой дать народу содержательное и полезное чтение, которое могло бы конкурировать с лубочной литературой, вызывавшей у просветителей недоброжелательное и презрительное отношение. Противопоставив лубочным персонажам рассудительного «дядю Иринея», Одоевский тем самым дал понять, что пишет для достойных сограждан, способных и желающих учиться, жить разумно и ответственно. Дядя Ириней представляется читателю только во 2-й книжке журнала (представляет его рассказчик): «Кто знает дядю Иринея, вот что живет в селе Ивановке? Изба у него такая славная, с красными окошками и расписными ставнями; на вышке петух, а по навесу разукрашено резьбою до чрезвычайности! Не знаете? Так я вам расскажу про него. Человек он не старый, да и не молодой, но такой здоровенный; сам работает, да и батраков нанимает, потому что человек бессемейный, были у него жена и дети, да всех Бог прибрал..., вот уже лет десять как он взял землишку на оброк под Ивановкой и поселился на ней...»² Поначалу посмеивавшиеся над дядей Иринеем односельчане, присмотревшись, поняли, что у соседа есть чему поучиться: «с тех пор каждое воскресенье дядя Ириней, помо-

¹ Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: Изд. АН СССР, 1955. Т. 6. Статьи и рецензии. 1842–1843. С. 683.

² Сельское чтение. 1844. Кн. 2. С. 23.

лясь Богу за обедню, сядет у ворот на завалинку, а кругом его старый и малый; дядя Иринея говорит, а парни слушают да смекают». Дается и мотивировка появления «грамоток»: «да тем часом прилучился писарь-грамотей, малый бойкий, послушал, пошел домой, принес с собою перо да бумагу, да присел поближе к дяде Иринею, что дядя скажет, то писарь запишет. С тех пор пошли по свету грамотки дяди Иринея, ходили-ходили, да и до нас дошли, а мы их вам передали...»¹ «Грамотки» дяди Иринея рассказывают обо всем на свете — о паровозах, газовых фонарях, градусниках, домашних животных, насекомых, личной гигиене и многих других вещах с мягким юмором, доходчиво и увлекательно, сочным и понятным языком, и всякий раз писатель находит для этих рассказов динамичную повествовательную форму: то ли беседы дяди Иринея с молодыми парнями, бывшими на заработках в Питере и делящимися впечатлениями, то ли воспоминаний о случаях из жизни односельчан. Возникает иллюзия живого диалога, ощущение непосредственного участия в разговоре. Интересно отметить, что дядя Иринея — не единственная ипостась думающего крестьянина в «Сельском чтении» — в 1-й книжке своих детей поучает крестьянин Наум: «есть такие глупые люди, что один хлеб едят, а другим брезгают, едят репу, морковь, яблоки, а картофель называют проклятою травою... от того, что ты будешь есть картофель, зла никому не будет, а есть добро, потому что картофель бережет хлеб»². В XIX веке польза картофеля еще не была очевидной для широких слоев крестьянства; печатное слово было орудием в борьбе за новый земледельческий уклад. Так и грамотки дяди Иринея: они идут впрок разумным людям, а неразумные... «Ну что ты с неразумным будешь делать? Все он на лукавого натывается, а лукавый тому и рад, его же на кривду наводит»³. Дядя Иринея, грамотей, философ-само-

¹ Там же. Кн. 2. С. 26.

² Там же. Кн. 1. С. 19.

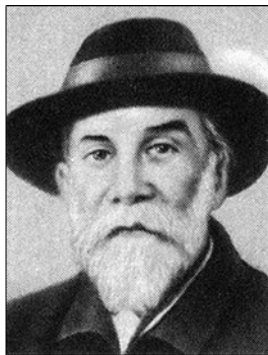
учка и резонер, наставляет своих слушателей (и читателей!) в простых истинах: «Бог дал нам ум на то, чтобы мы могли и свое добро приумножить, и от беды охраниться; кто умен да учен, тому чаще и удача бывает, но Бог нам дал ум и на то, чтобы в неудаче напрасно не роптать, а поближе посмотреть: отчего была неудача, чтобы вдругоряд быть смышленнее...». Эти простые истины дяди Иринея и его создателя — князя-демократа В. Ф. Одоевского, проповедника «деятельной любви к людям», неплохо бы помнить и нам, читателям, живущим полтора века спустя.

ХРАНИТЕЛЬ. ВСЕВОЛОД СРЕЗНЕВСКИЙ

Делом всей жизни Всеволода Измайловича Срезневского — историка, архивиста, палеографа, писателя, — так же, как и его великого отца, и братьев, стало служение русской культуре, на поприще, пожалуй, одном из труднейших — хранения и исследования рукописных богатств. О том, как росло и крепло в детстве и отрочестве его призвание, ученый рассказал годы спустя: «...отец дал мне Евангелие от Иоанна. Я вникал в параллельные тексты, латинский и греческий, понемногу переводил стих за стихом; осилив несколько стихов, я читал их с отцом. По тем же драгоценным для мира строкам таким же самостоятельным путем я стал знакомиться по французской Библии с французским языком. Много из других мест Евангелия по выбору и указаниям отца переводил я тогда и чувствую теперь, как хороша и глубока была мысль отца учить меня языку, научить вникать в его тайну при посредстве такого творения, которое само по себе должно было стать основой моей будущей жизни и будущих отношений к людям»⁴.

И еще — о воспитании в семье Срезневских: «...мы с ним переплетничали, клеили коробки, точили ножи, строгали доски,

³ Там же. Кн. 3. С. 5.



Вс. И. Срезневский

столярничали, работали на верстаке, на токарном станке, красили заборы, обклеивали стены обоями, копались в саду, хлопотали по домашеству. Эта наука умения применять силу и знания к делу, научив находчивости, сметке, сообразительности, потом мне очень пригодилась в жизни, дав возможность почти всегда обходиться своими руками, своей головой, своими средствами, не прибегая к помощи других. Как не поблагодарить за все это отца, исподволь готовившего сына к жизни, как будто он сам, этот малыш, доходил до всего своим умом. Не выпало на мою долю закончить даже среднего образования под руководством отца: он умер, когда мне не исполнилось еще и 13 лет. Но заложенное им в мою детскую душу отношение к труду, понятие о своих обязанностях, о своем долге, о любви к Родине, к ее старине, литературе, памятниках ее письменности и быта сроднились со мною с тех давних пор».

Будучи самым младшим сыном академика И. И. Срезневского, Всеволод с ранних лет, когда отца уже не стало, приобщился

⁴ Богатова Г. А. Отечественные лексикографы XVIII — XX вв. М.: Наука, 2000. С. 147—156.

к работе над его знаменитым словарем древнерусского языка: проверял словарные карточки, подыскивал к словам греческие переводы и готовил черновой текст словарных статей. Всеволод Измайлович тоже стал университетским человеком: учился на восточном факультете, окончил университет по юридическому и начал свою службу в Публичной библиотеке. С 1893 г. и до выхода на пенсию в 1931 г. его жизнь оказалась связана с Библиотекой Академии наук, в которой ученый осуществил свои основные работы. Начав с должности младшего, затем старшего помощника библиотекаря в журнальном и книжном отделах, он в 1900 г. был избран ученым хранителем рукописей в Рукописном отделении, только что открытом стараниями директора I (русского) отделения Библиотеки, выдающегося лингвиста А. А. Шахматова. Необходимо отметить, что Шахматов и Срезневский почти одновременно приступили к работе в Библиотеке, и это было невероятно удачным совпадением. До прихода Шахматова в течение многих лет посетителей неизменно встречала табличка на дверях, извещавшая о том, что библиотека закрыта для посторонних в связи с ее реорганизацией. Новый директор сразу же устранил привилегии в пользовании ее фондами, открыв их для преподавателей гимназий и даже студентов. Шахматов добился открытия при библиотеке специального читального зала для учащейся молодежи, а свой директорский кабинет отдал для выдачи книг на дом. По инициативе ученого в библиотеке создаются новые отделы: картографический, иконографический, нотный, отдел отчетов и другие. Но ни с чем не сравнимое внимание оказывает директор библиотеки рукописям. Благодаря такому подходу в 1900 г. Шахматову удается добиться создания при библиотеке специального Рукописного отделения, порученного Срезневскому. Всеволод Измайлович при содействии Шахматова начал свою работу с создания и постоянного пополнения фонда запрещенных и нелегальных изданий — поступка, требовавшего немалого личного мужества.

В 1901–1905 гг. Вс. И. Срезневский организовал ряд важнейших археографических экспедиций в Олонецкую губернию,

в результате которых в библиотеку поступило множество рукописных и старопечатных книг, получивших всестороннее и исчерпывающее описание. Срезневский — автор ряда крупных библиографических работ: в 1890-х годах составил «Список русских повременных изданий с 1703 по 1899 год» — первый полный список русских журналов и газет, издававшихся в России; совместно с А. Л. Бемом опубликовал описание изданий церковной печати эпохи Елизаветы Петровны; в содружестве с А. А. Шахматовым и М. Фасмером готовил «Обозрение трудов по славяноведению», печатавшееся в «Известиях АН»; наконец, в соавторстве с Ф. И. Покровским составил и издал «Описание Рукописного отделения Библиотеки Академии наук». Это последнее начинание по описанию рукописей Библиотеки АН было в послевоенные годы продолжено коллегами Всеволода Срезневского в нескольких томах. В 1906 г. за участие в издании главного труда отца — «Материалов для словаря древнерусского языка» — он был избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности. После революции Срезневский принял для себя решение сотрудничать с новой властью: в 1919 г. он был одним из основателей Государственного музея Революции; в 1920-е годы помогал в организации музея Л. Н. Толстого при Академии наук и заведовал им до 1929 г., описывая документы, связанные с жизнью писателя. Можно сказать, что Толстой (как и А. Х. Востоков) был предметом особенной любви и внимания Всеволода Измайловича: к нему он обращался на протяжении целого ряда лет, в частности, создал летопись жизни и творчества Толстого, описал некоторые автографы, заметки и записные книжки («О севастопольских песнях, приписываемых Л. Н. Толстому», «Язык и легенда в записях Л. Н. Толстого», «Коновская повесть (к истории создания «Воскресения»)). С 1925 г. Срезневский был старшим ученым хранителем Рукописного отделения БАН, с 1928 г. — заведующим IV отделением (рукописной книги). В 1931 г. в связи с перестройкой Рукописного отделения он подал в отставку, после чего в качестве сотрудника академическо-

го Института языка и мышления им. Н. Я. Марра работал над словарем древнерусского языка, а также редактировал отдельные тома полного собрания сочинений Толстого. Срезневский опубликовал ценные библиографические материалы по истории русской литературы, русской книги и русской периодики XVIII – XX вв. Так, он подготовил к печати древнеславянский перевод византийской хроники Симеона Логофета и некоторые памятники древнерусской литературы, в том числе сохранившуюся в архиве И. И. Срезневского копию так называемого «Мусин-Пушкинского сборника». Большинство изданных им материалов и исследований снабжено обстоятельными примечаниями, указателями и приложениями. Помимо этого, он подготовил несколько публикаций по истории украинской литературы, напечатанных в «Киевской Старине», «Русской Старине», «Журнале Министерства народного просвещения» и вышедших отдельными изданиями.

Большой интерес для славистики представляют его работы о А.Х. Востокове и И. И. Срезневском. Надо отметить, что Всеволод Измайлович писал не только об отце, но и о рано умершем дедушке. Кроме того, в сборнике памяти И. И. Срезневского¹ он напечатал библиографические материалы, относящиеся к жизни и деятельности отца; издал путевые письма И. И. Срезневского к его матери (1839–1842)² и письма Добролюбова к Срезневскому³; составил биографический очерк об отце в «Русском биографическом словаре». Важным вкладом в изучение биографии и творчества А. Х. Востокова была публикация его автобиографических заметок, заметок о стихотворениях Востокова.

¹ Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Пг., 1915.

² Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель. 1839–1842 гг. СПб., 1895.

³ Н. А. Добролюбов. Переписка с И. И. Срезневским // Звенья. Т. 3–4. Л., 1934.

Роль хранителя древностей, воспринятая Вс. И. Срезневским как служение и неукоснительно исполнявшаяся им всю жизнь, не только создала ему безукоризненную репутацию в ученом мире, обусловила высокий моральный авторитет, но и показала бесспорную культурную и общественную значимость археографической и текстологической работы. Ясно, что его научное творчество нуждается в дальнейшем внимательном и всестороннем изучении. Многие в этом направлении уже сделано: в 1924 г. друзья и почитатели выпустили сборник, посвященный Вс. И. Срезневскому¹, подготовленный к 25-летию его ученой деятельности, а в последующие годы наследие Срезневского привлекало внимание некоторых историков науки (работы А. Копанева, В. Рунова, Л. Шилова; статьи в биографическом словаре сотрудников Российской национальной библиотеки и справочном выпуске Словаря русского языка XI — XVII вв.).

ИСКУССТВО БЫТЬ ГУДЗИЕМ

В 1908 г. на занятиях Семинария В. Н. Перетца по русской филологии в университете Св. Владимира в Киеве появился новый студент. За плечами у него было детство в Могилеве-Подольском, где он родился в 1887 г. («...семья наша, в которой я был первенцем, была многодетная, родителям приходилось перекладываться из месяца в месяц, живя долгами, и соответственно складывался и наш детский быт...») и окончил 2-х классное городское училище; реальное училище в бессарабской глубинке, затем в Виннице и Киеве, куда семья переехала по долгу службы отца. Сдав экстерном экзамены за гимназический курс, Коля Гудзий поступил на славяно-русское отделение историко-филологического факультета. А. А. Назаревскому принадлежит портрет Н. К. Гудзиев времен участия в Семинарии: «Худошавый,

¹ Историко-литературный сборник: Посвящается Вс. И. Срезневскому (1891–1916). Л., 1924.



Н. К. Гудзий

несколько даже щедушный молодой человек, очень живой и подвижный, но не совсем ловкий в движениях, нередко ронявший из рук тросточку (дань тогдашней моде), — он легко мог натолкнуться на кого-нибудь, что-нибудь зацепить...»

Спустя годы профессор Гудзий напишет: «...я стал особенно усердным посетителем лекций профессора Владимира Николаевича Перетца, приобщавшего своих слушателей к тому, что должно было называть литературоведческой наукой, о которой мы не имели до тех пор никакого понятия, придя в университет со скудным багажом школьных разборов отдельных литературных произведений».

И еще несколько слов об учителе, с которым Николай Гудзий был связан «памятью сердца»: «переступив порог квартиры Владимира Николаевича, я сразу очутился в атмосфере повышенной научной настроенности, научной жажды и любознательности. Для меня, как и для других членов Семинария, присутствие в нем было своего рода праздником».

Отношения у профессора со студентами были доверительно-дружеские. Вот как о них писал сам Гудзий: «Бывало, я только проснусь, а кто-то стучит тростью в окно — комната, где я жил тогда в Киеве, была на первом этаже. Это В. Н. Перетц вышел на утреннюю прогулку и кричит мне с улицы: „Николай Каллини-

кович, не хотите ли пройтись со мной? Побеседуем о Максиме Греке»».

Так сложилось, что в бытность Перетца в Киеве его семинарий был веселым и уютным сообществом молодежи и маститого ученого: совместные посещения театров, концертов, катания на лодках по Днепру, совместные поездки для описаний рукописей составляли повседневную жизнь. Посещавший семинар Перетца уже в Петрограде Вениамин Каверин добавил выразительный штрих к портрету их общего с Н. К. Гудзием наставника: «...у него были свои причуды. Однако с наукой он не шутил, в прятки не играл и не пользовался ею для посторонних целей. Этому мы у него и учились...»

Вначале Гудзий выступил перед участниками Семинария с докладом «Был ли Максим Грек представителем Возрождения?», затем сделал сообщение «Прение живота и смерти» в старинной украинской литературе». Исследование «Жития Петра Скарги в украинском переводе XVI – XVII вв.» принесло молодому филологу золотую медаль на конкурсе филологических работ в университете. Впереди была долгая плодотворная работа в науке, отмеченная следующими вехами: «оставление при кафедре», как тогда говорили, «для подготовки к профессорскому званию», совмещенное с учительством в киевских гимназиях (1911 – 1914 гг.), получение магистерской степени и служба приват-доцентом в Киевском университете (1915–1918 гг.), профессура в Таврическом университете (1918–1921 гг.). В начале 20-х гг. в жизни Н. К. Гудзия начинается огромный и важный московский период: профессор кафедры истории русской литературы Московского государственного университета, МГПИ им. В. И. Ленина, Института красной профессуры, МИФЛИ. В годы сталинского террора ученый чудом избежал расправы: в 1934 г. его фамилия фигурировала в списке подозреваемых по делу «Российской национальной партии». По каким-то причинам (в машине террора были свои сбои и противоречия) этому делу не был дан ход.

С конца 1930-х гг. научная работа Николая Каллиниковича связана с академическими институтами: в разные годы он руко-

водил отделом древнерусской литературы и литературы XVIII в. ИМЛИ, параллельно продолжая преподавать в МГУ; возглавлял отдел русской литературы академического Института литературы им. Т. Г. Шевченко в Киеве (в это время он был избран действительным членом АН УССР) и отдел древней украинской литературы того же института. В этот период своей деятельности он знаменовал связь русской и украинской научных традиций (к слову, таких связующих фигур между двумя близкими традициями не так много).

В течение своего более чем полувекового научного пути академик Гудзий занимался широким кругом проблем: творчеством русских писателей XVIII – XIX вв., среди которых особое внимание уделял Феофану Прокоповичу, Ломоносову, Пушкину, Гоголю, Тютчеву, Брюсову, но особенно Толстому. Он был членом редколлегии юбилейного 90-томного собрания сочинений писателя, для которого подготовил около 50 произведений и составил порядка 40 листов комментариев; опубликовал значительное число статей, посвященных творчеству Толстого («Толстой и Лесков», «Толстой в русской литературе», «Как писалась и печаталась „Крейцерова соната“ Толстого» и другие). Другой стороной научных интересов ученого была история украинской литературы и история русской филологической науки.

Однако основной научной специальностью и страстной любовью Гудзия на протяжении всей жизни оставалась древнерусская литература. В середине 30-х гг. Николай Каллиникович начал работу над курсом истории древнерусской литературы для высших учебных заведений, в результате которой появилась «Хрестоматия по древней русской литературе XI – XVII вв.» и знаменитый учебник «История древней русской литературы».

Д. С. Лихачев вспоминал: «Перед войной на стрелке Васильевского острова был <...> академический книжный магазин <...> Он помещался в парадной Музея этнографии и антропологии. Там торговали не только академической книгой <...> Я работал тогда в Издательстве Академии наук, но был уже знаком с Григорием Александровичем Гуковским. Я встретил его на улице. Он

почти бежал. На ходу он объяснил мне, что вышел учебник Гудзия, который обязательно надо купить».

Почему же учебник по древнерусской литературе вызвал такую реакцию коллег и читателей? Этот учебник пришел на смену существовавшим тогда курсам Е. В. Петухова, В. А. Келтуялы, П. Н. Сакулина и А. С. Орлова. С одной стороны, подход автора к материалу сформировался под влиянием академического литературоведения второй половины XIX — начала XX в., которому был присущ «фактографический» пафос. Для Н. К. Гудзия бесспорна первичность текста перед любой концепцией. Автор учебника внимательно анализирует древнерусские тексты, их сюжеты, стиль, приемы. Отличает учебник и подробный пересказ содержания древнерусских текстов. В позднейших учебниках такие пересказы станут намного более лаконичными. Н. К. Гудзий же следует старой традиции, но пересказ важен ему именно в учебных целях. Пересказывая древнерусские произведения, он приближает их к нам, освобождает от немоты го-лоса древнерусских книжников. Изложение древнерусских произведений у него увлекательное и живое. Надо напомнить, что учебник создавался и вышел в свет в то время, когда религия и религиозная литература, мягко говоря, не приветствовались. Между тем автор подробно излагает содержание множества житий святых, возвращая эти произведения в современную культурную память. Это был очень смелый поступок. С другой стороны, для Н. К. Гудзия были важны методологические правила, о которых напоминал студентам его учитель В. Н. Перетц: «Никогда нельзя смешивать с анализом документа своих рассуждений и домыслов, пополнять „от себя“ автора памятника. Нельзя смешивать факты, полученные из документа, с результатами рассуждения». В соответствии с этим анализ и выводы естественно следуют из изложения содержания памятников. Характеристики поэтики древнерусских памятников всегда выверены, далеки от произвольности и необязательности, от неуместной и для педагога, и для ученого оценочности. Сохранил автор учебника и главное достояние культурно-исторической школы —

рассмотрение памятников в богатстве их культурных связей, в преемственности по отношению к различным литературным традициям. В позднейших учебниках эта особенность была утеряна. Важной частью учебника Гудзия стали обзоры изучения древнерусских произведений: автор стремится учесть все существующие точки зрения, относящиеся к истолкованию смысла, датировке и атрибуции произведений. Гудзий, которому принадлежат специальные исследования многих произведений, никогда не излагает только собственную точку зрения. Сначала текст (его пересказ), потом бесспорные сведения о нем, потом — все, что является дискуссионным.

Бескомпромиссность ученого в важных вещах проявлялась и в повседневной жизни: «...он не был ни дипломатом, ни чиновником, ни хитрецом. Он не мог притворяться, выжидать или молчать, когда надо было протестовать, заступаться или кого-то поддерживать. Как и многие очень добрые люди, он был вспыльчив. Сколько раз мы видели его рассерженным, возмущающимся, но, всплыв, он быстро отходил. Он никогда не радовался чужим неудачам, оплошностям, ошибкам, смешному положению, в которое попадал человек. Дурные поступки его всегда болезненно огорчали. Зато как он радовался чужим успехам, удачной книге, удачному выступлению, награждению достойных! Его часто фотографировали ученики. И на всех фотографиях „гудзиевское“ выступало очень ярко: его характерные жесты, его улыбка, его глаза. Это потому, что он всегда был самым собой, искренним до предела». Так описал своего старшего коллегу В. В. Виноградов¹. А вот как профессор Гудзий вел себя за лекционной кафедрой: «сюжеты житийной литературы, сказаний и апокрифов он передавал с редким изяществом, артистизмом, сам откровенно получая удовольствие от наивной мудрости древнего автора и прелести старинного слога. В наиболее

¹ Воспоминания коллег и учеников Н. К. Гудзия вошли в книгу: Воспоминания о Н. К. Гудзии. М., 1968.

забавных местах он уже заранее начинал хмыкать и как-то особенно форсисто покачивал своей выразительной, необычной головой, подыскивая подходящие слова для изложения чересчур откровенного сюжета» (В. Я. Лакшин).

Или: «Николай Каллиникович входил в аудиторию стройный, подтянутый, с высоким стоячим галстуком-бабочкой, с огромным портфелем и поднимался на высочайшую кафедру, где он читал стоя. Меня — недавнего гимназиста — очень забавляло, что всякий раз, входя на кафедру и оглядывая полупустую аудиторию, в которой находилось 5—6 студентов, он громко обращался к нам: „Милостивые государи!“» (М. П. Алексеев).

Любовь к своему делу, эрудиция, чувство вкуса и такта, врожденная, неизменная доброжелательность открывали путь к таинству познания, к чуду взаимного общения и духовного обогащения: «Профессор поднимается на кафедру и извлекает из своего необъятного портфеля толстую небольшого формата «книжицу» необычного вида. Обведя аудиторию лукавым, несколько насмешливым взглядом и пожевав губами, профессор представляется: «Гудзий Николай Каллиникович. Буду вам читать древнюю русскую литературу. Лекции мои записывать не обязательно. Скоро выходит из печати мой учебник. Больше работайте самостоятельно, больше читайте, думайте...» Это слова другого известного ученика, впоследствии также крупного исследователя древнерусской словесности, автора учебника В. В. Кукова.

Таинство продолжается. Выдержав семь изданий, книга Гудзия уже в современную эпоху была переиздана в серии «Классический учебник». Кажется, и теперь каждый, кто хочет начать знакомство с древнерусской Атлантидой, не сможет пройти мимо этого труда. В числе трехсот книг, привезенных с собой в Израиль, в моем шкафу стоит и учебник Гудзия.

СЛОВАРЬ

Биографический словарь «Русские писатели. 1800–1917» – масштабный культурный проект последних тридцати лет: первый том вышел в свет в 1989 г., шестой – в 2019. Подготовка статей для шестого тома началась много лет назад, и в 2013 г. благодаря Е. Г. Водолазкину и М. Ю. Эдельштейну я присоединился к команде авторов словарных статей.

Подготовленные для Словаря статьи легли в основу публикуемых ниже очерков-исследований.

СОБЕСЕДНИК ШЕКСПИРА. ВАСИЛИЙ ЯКИМОВ

В первой половине XIX в. в Харькове жил Василий Алексеевич Якимов – филолог, педагог, поэт и переводчик. Будучи сыном священника, он окончил в 1823 г. Белгородскую семинарию, но, не принимая сана, поступил «своекоштным» студентом на словесный факультет Харьковского университета. К этому периоду относятся первые публикации Якимова в «Украинском журнале».

В 1826 г. В. А. Якимов окончил университет со степенью кандидата с золотой медалью и был определен учителем словесности Харьковского института благородных девиц; с 1831 г. преподавал русскую словесность в Харьковском университете. В 1832 г. в Санкт-Петербургском университете защитил диссертацию «О духе, в коем развивалась российская словесность со времени Ломоносова, и влиянии, какое на нее имели литературы иностранные» на степень магистра словесных наук и был утвержден адъюнктом по кафедре русской словесности Харьковского университета.

Однако главным делом жизни провинциального филолога были переводы шекспировских пьес: Якимов стал одним из пер-

вых переводчиков великого драматурга в России, где интерес к его творчеству в то время был очень высок, в том числе и среди преподавателей Харьковского университета (например, И. Я. Кронеберг, А. О. Валицкий).

Как писал Якимов в своей магистерской диссертации, Шекспир «рассек на самые малейшие частицы сердце человеческое... показал нам человека во всей наготе, приблизив его с одной стороны к чистым жителям небес, а с другой отбросив в мрачное царство ада».

Известия о литературной работе харьковского «собеседника Шекспира» достигли столиц, и его переводы вызвали интерес. В январе 1832 г. М. П. Погодин дал ему рекомендательное письмо к А. В. Веневитинову, с которым Якимов приехал в Петербург. Столичный адресат познакомил его с В. Ф. Одоевским и другими литераторами¹. В марте состоялась его встреча с Пушкиным², во время которой Якимов преподнес поэту «речь в стихах» «Дар слова» с дарственной надписью «20 марта 1832»³. В январе следующего, 1833 г. Якимов читал свой перевод «Венецианского купца» в доме цензора А. В. Никитенко. Вскоре повторное чтение состоялось в доме Одоевского, который 27 марта 1833 г. отправил А. С. Пушкину письмо с приглашением на чтение, но поэт на вечер не пришел. По предположению Л. Б. Модзалевского, Пушкин намеренно уклонился от вечера с чтением Якимова, невысокое мнение о поэтическом таланте которого сложилось у него после первой встречи.

Перевод двух пьес, «Король Лир» и «Венецианский купец», вышли в Петербурге почти одновременно в 1833 г. Раскрывая свой подход к переводу, Якимов писал: «...переводчик старается

¹ Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. IV. 1891. С. 123.

² Одоевский В. Ф. Письма к А. С. Пушкину // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 г. Ленинград, 1984. С. 150–151.

³ Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1910. Вып. 9/10. С. 119.

сберечь все, что есть в подлиннике, исключая то, что противно нашим приличиям... Где можно, там он переводит стих в стих и даже слово в слово; где нет, там, по необходимости, вместо одного стиха он ставит полтора и более... самый размер стихов, повторения слов в известных местах, рифмы — удерживаются везде, где можно, и все высказывается так, как есть». К достоинствам переводов Якимова можно было бы отнести их точность, научные примечания, ссылки на комментаторов Шекспира, но все они не могут перевесить главного недостатка — отсутствия художественности.

В самом деле, теплый прием в кругу литераторов был вызван трудолюбием и смелостью замысла Якимова, решившего «перевести всего Шекспира», как писал Одоевский Пушкину; тогда же П. В. Киреевский писал Н. М. Языкову о том, что у Якимова были «готовы уже 7 переводов Шекспира».

Но когда переводы вышли в свет, на них обрушилась беспощадная критика, вызванная, прежде всего, буквализмом переводчика и тяжеловесностью его стихов, затемняющей смысл текста: «иногда... трудно дознаться, о чем говорит действующее лицо»¹; «язык русский ломается и стонет в насильственных тисках, сколоченных слепым порабощением оригиналу»². А. В. Бурнашев упрекал Якимова в «мозольном старании о тождестве мыслей, а преимущественно слов» в ущерб «тождеству духа каждой пьесы, в переводе и подлиннике...»³. Впоследствии переводческая деятельность Якимова получила крайне резкую оценку В. Г. Белинского⁴, а Н. А. Добролюбов вообще не относил нашего автора «к числу переводчиков Шекспира»⁵. С уважением о «честном и полезном труде» Якимова писал

¹ Московский Телеграф. 1833. Ч. 51. №9. С. 157.

² Молва. 1833. 15 авг.

³ Северная Пчела. 1833. 27 мая, 29 мая.

⁴ Письмо В. П. Боткину от 10–11 дек. 1840 // В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Т. XI. Москва, 1956. С. 578.

А. В. Дружинин, назвав его перевод «Короля Лира» «полнейшим и подробнейшим»⁶.

В целом Якимов находился в русле господствовавшей в конце 1820-х — начале 1830-х гг. «тенденции к максимальному приближению перевода к оригиналу, граничившему с буквализмом», что было вызвано как «отрицанием прежних методов вольных переложений», стремлением подчиниться «замыслу автора», так и «неразработанностью методов адекватной передачи художественной формы при переводе». Кроме того, его «ученые переводы» были «решительно непригодны для театрального исполнения». Якимов перевел также пьесы «Отелло», «Цимбелин», «Сон в летнюю ночь» и «Что вам угодно»; впрочем, судьба этих и других рукописей Якимова неизвестна.

Владея искусством декламации, Якимов оставил несколько работ о красноречии в стихах и прозе, в т. ч. сочинение «О красноречии в России до Ломоносова»⁷, в котором сформулировал свое отношение к предмету: «Теория Красноречия есть идеал; произведение Оратора — опыт стремления к идеалу». За это сочинение Василий Алексеевич был удостоен докторской степени, избран экстраординарным и вскоре ординарным профессором. Однако по мнению М. И. Сухомлинова, работа «отличается бесцветностью содержания и наивностью критических приемов автора» — «ритора старой школы»⁸.

Радушный прием столичных литераторов и последующие затем критические отзывы, житейские и семейные невзгоды в 1840-е гг. надломили Якимова: он духовно опустился, оставил переводы, начал пить. По свидетельству М. Ф. Де-Пуле, слушав-

⁵ Добролюбов А. Н. Собрание сочинений в 9 т. Т. 2. Москва, 1962. С. 489.

⁶ Дружинин А. В. Собрание сочинений. Т. 3. СПб., 1865. С. 10–11.

⁷ Якимов В. А. О красноречии в России до Ломоносова. Харьков, 1838.

⁸ Сухомлинов М. И. Уничтожение диссертации Н. И. Костомарова в 1842 г. // Древняя и новая Россия. 1877. №1. С. 44.

шего его лекции в Харьковском университете, он «был человек добрый, а главное, какой-то забитый или надломанный, потому и делом своим занимался спустя рукава: случалось, что по приходе он тотчас уходил с лекции, сознавая, что не приготовился к чтению, — а между тем этот человек был и образованнее, и учение современных ему профессоров-словесников в других университетах»¹.

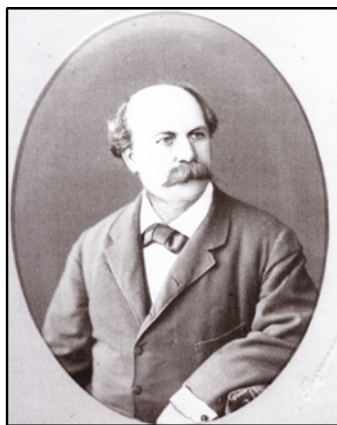
В последние годы жизни Якимов приобрел дом и открыл собственный пансион для детей купеческого сословия с преподаванием предметов гимназического курса, но без древних языков. Однако пансион не только не принес Якимову успеха, но и способствовал его разорению. В 1852 г. по выслуге лет он был отправлен в отставку, а в следующем году скончался.

Каков же урок жизни и деятельности Якимова? Назвать его победителем, выдающимся или даже заметным деятелем нельзя. Но его жизнь была дерзанием — в обстановке провинциальной затхлости, неблагоприятного окружения, незавидных внешних обстоятельств. Рискнув бросить им вызов, Якимов проиграл, но, не шутя со своим призванием и не пользуясь им для посторонних целей, заслужил честное имя и уважение потомков.

СЛОВО О ЗАБЫТОМ ПИСАТЕЛЕ. ИВАН ЯВЛЕНСКИЙ

Имя Ивана Никифоровича Явленского мы услышали впервые благодаря работе над изданием «Марфы, посадницы Новгородской» М. П. Погодина. Этот забытый третьестепенный писатель был одним из тех, кто развивал в своем творчестве тему Марфы во второй половине XIX в. Собирая материалы о нем для раздела «Дополнения», я обнаружил, что его лич-

¹ Де-Пуле М. Ф. Харьковский университет и Д. И. Каченовский: культурный очерк и воспоминания из 40-х годов // Вестник Европы. 1874. №1. С. 97.



И. Н. Явленский

ность имеет, как минимум, три ипостаси. О них и пойдет речь ниже.

Первая ипостась — доблестный воин, и этот жребий был предопределен самим рождением Явленского в семье военного врача, старшего лекаря Тифлисского военного госпиталя. Воспитывался он в Дворянском полку и был выпущен прапорщиком; служил в Черноморском линейном батальоне, затем в Эриванском карабинерном полку (1846—1850) под командованием полковника К. А. Бельгарда, принимал участие в боях Кавказской войны, за отличие в сражениях повышен в чине до подпоручика, поручика, а уволен со службы с чином штабс-капитана. В 1891 г. старый уже офицер впервые явился на встречу выпускников Дворянского полка (в ту пору — Константиновского военного училища) по случаю празднования его 84-й годовщины. Об этом событии написала тогда же «Русская старина» и поместила «от сердца вылившееся стихотворение» «Друзьям», которое Явленский, выпускник 1844 г., огласил на празднике:

*Друзья мои! Почти полвека
В среде я вашей не бывал
И жизнь мою, как жизнь абрека,
Родному краю посвящал!
И в Бухаре, и в Дагестане,
И на равнинах всей Чечни,
Прошли года в бивачном стане —
Как золотые точно сны!
И вот теперь рассадник света,
Науки, жизни, добрых дел
Услышит пусть слова приветов
Того, кто в жизни уцелел!..¹*

Выйдя в отставку, Явленский реализовал свою вторую ипостась: поселился в Астрахани, где последовательно служил столоначальником казенной палаты по соляному отделению; чиновником по особым поручениям астраханского генерал-губернатора; управляющим заведениями «Братья Сапожниковы»; уездным, а затем губернским предводителем дворянства. Дослужился до надворного советника, был кавалером орденов Анны, Станислава, Владимира... Этот список званий и чинов, достаточно быстро наводящий скуку, был сопровожден, однако, одним из сильнейших человеческих и литературных переживаний Явленского: в августе 1857 г. он встретился и несколько дней провел в обществе Тараса Шевченко. В то время, когда поэт возвращался из ссылки, они познакомились в Астрахани, а сблизило их совместное путешествие на пароходе «Князь Пожарский» по Волге до Нижнего Новгорода². Пароход отплыл из Астрахани в самом конце августа, а уже 3 сентября в журнале Шевченко появился автограф: «Не забывайте любящего вас И. Явленского»³.

¹ Русская Старина. 1891. LXX, 4. С. 258—259.

² Большаков Л. Н. «Все он изведаль...» Тарас Шевченко: поиски и находки. Киев, 1988; Большаков Л. Н. Оренбургская шевченковская энциклопедия. Оренбург, 1997.

30 августа Шевченко нарисовал портрет Екатерины Никифоровны Козаченко — сестры Явленского. Он запечатлел ее на тонированной бумаге итальянским карандашом очень живо и броско. Под портретом поставил свой автограф. Вначале этот портрет находился в доме Сапожниковых, а потом оказался в частном собрании. Теперь он хранится в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве.

Тарас Григорьевич несколько раз упоминает Явленского в своем дневнике, который он вел по-русски. «6 сентября. В 10 часов утра „Князь Пожарский“ бросил якорь у набережной Самары. Издали эта первой гильдии отроковица весьма и даже весьма неживописна. Я вышел на берег и пошел взглянуть на эту чопорную юную купчиху. На улице попался мне И. Явленский, и мы сообща пустились созерцать город. Ровный, гладкий, набеленный, нафабренный, до тошноты однообразный город [...] Огромнейшая хлебная пристань на Волге, приволжский Новый Орлеан. И нет порядочного трактира. О, Русь!»; «8 сентября. ...Я рассчитывал, что казенные смотровые сапоги послужат мне по крайней мере до Москвы, а они и до Симбирска не дотянули, изменили, проклятые, то бишь казенные. Иван Никифорович Явленский заметил этот ущерб в моем весьма нещегоольском костюме и предложил мне свои сапоги из чисел запасных, за что я ему сердечно благодарен. Сапоги его пришлось мне по ноге, и я теперь щеголяю почти в новых сапогах, вдобавок на высоких каблуках, что мне не совсем нравится, но дареному коню в зубы не смотрят»; «18 сентября. Спасибо Ив. Никиф. Явленскому за то, что он отказался от завтрака и помог мне кончить превосходное прелюдие к превосходнейшему стихотворению, которое я, если Бог поможет, перепису завтра»; и наконец «21 сентября. [...] После обеда проводил моих добрых, милых спутников [...] и простился с ними. Они в почтовых каретах отправились в Москву [...] Просил Комаровского и Явленского целовать

³ Шевченко Т. Собрание сочинений в 6 т. Киев: АН УССР, 1964. Т. 5. С. 116.

в Москве моего старого друга М. С. Щепкина...»¹ Видимо, Иван Никифорович хорошо понимал, с явлением какого масштаба он повстречался, и его цепкая память спустя десятилетия сохранила подробности недолгого знакомства. Много лет спустя астраханский чиновник составил «Заметку о Шевченко Тарасе Григорьевиче», сохранившуюся в архиве «Русской старины» как краткое пояснение к рисункам Шевченко, переданным журналу, но не появившимся в печати.

Страсть к сочинительству побуждала Явленского пробовать свои силы в разных родах и жанрах и придавала ему оптимизм. Его строки, с присущим им здоровым жизнелюбием, убедительно подтверждают это:

*За все, за все судьбе спасибо!
За массу горьких в жизни дней,
За боевую жизнь наиба,
За счастье в обществе друзей!
За все восторги и страдания,
Судьбе я шлю всегда привет
И за любовь, за упование —
В святой родительский завет!
Ну, словом, нет еще момента,
Когда бы я на жизнь роптал —
И говорю без комплимента,
Судьбу бы я расцеловал!..²*

Но стоило бы вспоминать поэта-дилетанта, если бы он отличился только храбростью офицера или товарищеским отношением к вчера опальному поэту? Возможно, ибо и это немало. Однако — и это третья ипостась его судьбы — Явленский страстно желал послужить на ниве литературы, что ему отчасти удалось. Литературное наследие Явленского невелико по объему,

¹ Шевченко Т. Собрание сочинений в 6 т. Т. 5. С. 119—136.

² РО ИРЛИ РАН, ф. 274. оп. 1. д. 399. л. 162—162 об.

но довольно многопланово и разножанрово. Он выпустил две книги, и трудно назвать жанр, в котором он не попробовал свои силы: путевые очерки, поэма, либретто, бытовая и историческая драма.

В очерках «От Астрахани до Астрабада»¹, изданных в 1871 г. и имеющих подзаголовок «путевые впечатления», Явленский описывает путешествие по Каспию от Астрахани через Тарки, Дербент, Апшерон, Баку, Ленкорань и ряд мелких населенных пунктов до северного побережья Ирана — Энзели и Астрабада (совр. Горган).

Непосредственные наблюдения, переплетающиеся с историческими, этнографическими (напр., о субботниках: «число семейств простирается до 700; сначала народ этот считал себя жертвою, гонимую за веру, но скоро понял, что между пленением вавилонским и их колонизацией большая разница; вследствие сего занялся делом и в настоящее время считается одним из богатейших селений», мифологическими (предания о персидской горе Демавенд), экономическими и политическими отступлениями, составляют основу очерковой композиции. Внешнеполитические интересы России во второй половине XIX в. обращаются к южному Прикаспию; этим обстоятельством, видимо, объясняется актуальность и самого путешествия, и проблематики книги писателя.

В 1882 г. в Москве в свет вышел сборник, состоящий из четырех пьес и одной поэмы, с незамысловатым заглавием «Драмы, комедия и поэма»².

В первой пьесе «Кто виноват?», которую можно отнести к традиции бытовой драмы, довольно откровенно изложены

¹ Явленский И. Н. От Астрахани до Астрабада. Астрахань, 1871; Марков А. С. Редкие астраханские издания // Альманах библиофила. М., 1989. Вып. 25.

² Явленский И. Н. Драмы, комедия и поэма. Москва: Тип. Вильде, 1882.

семейные недоразумения племянницы И. Явленского Н. А. Сапожниковой и ее мужа, крупного промышленника А. А. Сапожникова. Действие происходит в вымышленном провинциальном городке Турске, а также в Москве, в семье Тиховых — торговца и его жены, некогда состоятельных, но теперь в значительной степени обедневших. Поправить пошатнувшиеся дела взялся поверенный Хитров, у которого завязывается роман с хозяйкой дома. Злоупотребления поверенного, а также измена Тиховой открываются, и та кончает с собой, бросившись под поезд.

Историческая драма «Марфа-Посадница» принадлежит давней традиции драматургического воплощения образа «великой россиянки», сложившейся к тому времени в литературе¹.

Пьеса открывается беседой трех новгородских посадников, которые считают, что свобода их города под угрозой из-за вероятного нападения Москвы, а также потому, что к Марфе чересчур «привязалась Литва», преследующая свои интересы. Один из посадников, Михаил, в отличие от двух других считает, что переход Новгорода под власть Москвы был бы для него благом и пишет царю донос, где живописует «гордыню Борецкую», которая «мутит» новгородцев и сбивает их с верного пути.

Следующая сцена — вече, воссозданное таким, каким читатель видел его в повести Карамзина «Марфа-Посадница, или покорение Новагорода». Сначала выступает посланник Иоанна Холмский, убеждающий собравшихся, что им осталось:

¹ Фризман Л. Г. Марфа-посадница в русской литературе // Известия РАН, Серия литературы и языка. 2014. №2. Здесь и далее использованы наблюдения Л. Г. Фризмана над поэтикой драмы.

*Свои восторги с нами слить
И чтоб сумятица унялась —
На трон Иоанна пригласить!
И будет он, как царь наш славный,
На всей Руси один царить —
И весь народ наш православный —
Одной любовью дарить!*

Вслед за ним выступает Марфа, поборница свободы Новгорода, и всей силой своего красноречия пытается вдохновить народ на борьбу:

*Мы троны ставить разучились
И рабски спин уже не гнем:
В свободе выросли, родились,
В свободе с радостью умрем!..*

Холмский не устает превозносить достоинства Иоанна:

*Его души движенья — святы,
Он для народа сам живет,
Его и мысли так богаты,
Что он в восторг всех приведет!*

Марфа готова согласиться с любыми восхвалениями Иоанна и от души желать Москве «в потомстве светлый, яркий путь», но:

*Нет, нет, в свободе мы родились,
Всосали волю с первых дней
И нам правленья не привились
Чужих ни княжеств, ни царей!..*

Очень важен для характеристики Марфы ее пространный диалог с Сапегой — послом литовского князя и польского короля Казимира. Хитрый посол начинает с того, что льстит Марфе, говорит, что ее «считая женщиной прелестной, / Давно царицей нарекли», что ее «величье, доблесть, слава / Горят, как

яркий бриллиант!..». Но лесть не достигает цели. Марфа отвечает:

*Такие мелкие забавы
Души моей не веселят!
Я званье гражданки считаю
Превыше царств всех и царей;
И воли, нет, не променяю
На все блаженство ваших дней!*

На просьбу Марфы о «подмоге» Сапега отвечает, что она будет оказана лишь «если Новгород согласен / Признать власть Польши над собой» и навсегда отдаться под власть князя. Это предложение вызывает у Марфы взрыв негодования:

*Я не ждала от Казимира,
Что он предложит нам позор,
На посмеянье всего мира!..
Так дружба Польши чистый вздор? [...]
В душе кто рабство презирает
И только в воле видит свет,
Тем Польша цепи предлагает?
Хорош ваш дружеский привет!*

Сапега надеялся убедить гордую посадницу, что Польша «не даст Новгороду цепей», а подлинная беда грозит со стороны Москвы, которая нанесет ему неизлечимую рану. Но вот что он услышал:

*Уж если небу так угодно,
Чтоб мы признали над собой
Чужую власть, то мы свободно
Москве вручим наш жребий злой! [...]
Скорей под пеплом наших храмов
Свои остатки погребем,
Чем вашей Польши гадких хамов
Владеть собою призовем.*

В третьем действии впервые появляется Иоанн, и становится очевидным интересный факт: он, как и Марфа, положительный герой. Характеристика, которую дал ему Холмский в своем выступлении на вече, оправдывается. Он справедлив: посадника Михаила, который написал ему донос, а в разгар боя всячески мешал новгородцам, Иоанн не только не награждает, а приказывает выслать. О Марфе же, непримиримой своей противнице, отзывается с явным уважением:

*Она хоть женщина, но право,
Как патриотка, высока!..
И отнеслася мило, здраво
За честь родного уголка! [...]
Да кто из нас-то без порока?
Я ей простил уже душой
А если дам два-три упрека,
То за сближение с Литвой!..*

Но как раз таких упреков Марфа не заслуживала: она гневно отказывалась подчиниться «Польши гадким хамам». Поставленная перед выбором — признать власть московского князя или быть преданной «на монастырское моленье», Марфа пытается покончить с собой, но «один из опричников схватывает ее руку и нож выпадает на пол». Перед тем, как быть уведенной, она говорит:

*И умереть-то мне мешают!
Да жизнь мне те же кандалы!..
Свободы, родины лишают,
Так будут ли мне дни милы?
Прощай, мой сын, моя отрада,
Сумей Борецким кончить век;
Нас в небе ждет, мой друг, награда —
А здесь же жалок человек!..*

Исторический сюжет лежит и в основе оперного либретто «Тамара царица Грузии», однако конфликт здесь вымышленный

и решен в ключе «роковой страсти»: жестокая красавица Тамара покорена юношей Ростомом, сыном ее приближенного, князя Мамука. Пока князь отражает атаки персов, царица предается любовным утехам. Узнав же, что у Ростом есть невеста, она коварно приказывает сбросить его в пропасть. Мамук узнает о случившемся, но Тамару постигает божья кара: ее убивает удар молнии.

Пьесе «Типы века» можно отнести к комедии нравов: расчетливая Ольга мечтает выйти замуж за богача Штукина, но влюблена в офицера Радугина, который, в свою очередь, мечтает получить не столько ее, сколько ее деньги. Во время совместной поездки с Ольгой за границу Радугин, потратив значительные средства, кончает самоубийством, а ничуть не изменившая характер Ольга остается со Штукиным.

Единственная поэма в сборнике — «Без заглавия» — состоит из трех глав и относится к «петербургским» текстам; ее сюжет — несчастная любовь Надиной к Приволгину, приводящая героиню к гибели.

О жизненной драме самого автора в дальнейшем, после выхода в свет его книги, мы почти ничего не знаем. Во всяком случае, в одном из пяти альбомов М. И. Семевского, издателя «Русской старины», сохранилась автобиография Явленского, датированная 1891 г., в которой он писал: «...в настоящее время в отставке, живу отставным, читая и вспоминая всю русскую старину...»¹

Отставной офицер, забытый поэт и драматург со скромным дарованием, провинциальный просветитель и мемуарист, один из бескорыстных деятелей культуры XIX века, — таким предстает перед нами, людьми века XXI, Иван Никифорович Явленский.

¹ РО ИРЛИ РАН ф. 274. оп. 1. д. 399. л. 161 об.



И. П. Хрущов

СЛОВО И МУНДИР. ИВАН ХРУЩОВ

Темой этого очерка станет жизнь и деятельность полузабытого прозаика, историка литературы, мемуариста, педагога, просветителя и чиновника по различным ведомствам Ивана Петровича Хрущова (1841–1904), выпустившего на протяжении сорока лет множество книг и статей, работавшего рядом с крупнейшими деятелями русской культуры и ставшего своеобразным зеркалом эпохи — от времени «великих реформ» до реакции 1880-1890-х годов.

Родившийся в селе Костромской губернии, Хрущов происходил из старинного дворянского рода. Писателем-дилетантом был и его отец, Петр Иванович, отставной поручик, опубликовавший несколько прозаических и стихотворных книг религиозного содержания. По-видимому, он отличался фанатизмом и деспотичным характером (сохранилась копия дела 1839 г. «Об изгнании бесов поручиком Хрущовым П. И. с соблюдением

¹ Коротков Ю. Писарев. М., 1976. С. 98.

особых обрядов»).

Годы взросления и юности Хрущова совпали с грандиозными переменами в жизни русского общества. В конце 1850-х гг. Хрущов, поступив на историко-филологический факультет Московского университета, в ту пору возглавлявшийся С. М. Соловьевым, увлекся свобододолюбивыми идеями, испытал влияние товарищей: Н. Д. Квашнина-Самарина¹, сочинявшего революционные стихи, членов кружка «Библиотека казанских студентов». Именно с ними он участвовал в «леонтьевской» истории, когда студенты выступили против консервативных взглядов профессора греческой словесности П. М. Леонтьева, и перенес сильное душевное потрясение. Но самое важное событие в студенческой жизни Хрущова произошло летом 1860 г.: во время каникул он гостил в имении Корсаково, где познакомился с Д. И. Писаревым. Знакомство быстро переросло в дружбу; Хрущов часто навещал друга в его имении Грунец, а история их отношений отражена в дневнике Ивана Петровича². Осенью 1860 г. в Москве, а с зимы 1861 г. в Петербурге молодые люди продолжали тесно общаться и даже вместе снимали комнату. Хрущов характеризовал друга как «очень порядочного и талантливого малого, но блаженного в полном смысле этого слова». Интересно отметить, что, несмотря на приятельские отношения, убежденный в собственной одаренности Хрущов порой довольно негативно оценивал Писарева и его знакомых — Г. Е. Благодетель, В. П. Попова: «...Благодетель и Попов мне зело не нравятся. Один циник а la Писарев, другой умственная малость, ноль. Писарев все-таки жертва Благодетель, а я — я художник, художник, художник...»

В то же время Писарев, зная о литературных занятиях Хрущова, содействовал публикации его первых сочинений — «рассказов из семейных преданий»: в 1862 г. в журнале «Подснежник» появился рассказ для детей «Парашин лесок»

² РГАЛИ, ф. 530, оп. 1, №1.

(вышел отдельным изданием под псевдонимом в том же году и переиздан несколькими годами позже¹), а в «Русском слове» — рассказ «Няня» (№3), выдержанный в реалистической манере и проникнутый сочувствием к простому человеку.

Тесные отношения с Писаревым неизбежно втягивали Ивана Хрущова в гущу политических событий (например, участие в демонстрациях), а арест критика затронул и самого Хрущова: летом 1862 г. на квартире матери в Курске, куда он приехал на каникулы, был обыск. Этот обыск стал моментом внутреннего перелома: страх заставляет молодого историка пересмотреть свое отношение к радикальным идеям и вызывает их постепенное отторжение. Свидание с Писаревым в Петропавловской крепости год спустя убедило Хрущова в том, что бывшие увлечения и дружба прошли.

Зимой 1862 г., окончив историко-филологический факультет Петербургского университета кандидатом, наш герой добивается назначения на службу в провинции, опасаясь влияния революционной среды в столице. Он поехал учительствовать в Петрозаводск и в 1862–1865 гг. служил учителем русской словесности Олонецкой, а затем Новгородской гимназий. В Петрозаводске Хрущова ожидали новые интересы и знакомства. Здесь начинаются его этнографические занятия (знакомство с П. Н. Рыбниковым, встречи со сказителями былин) и здесь же он подружился с семьей Поленовых. Эта встреча была, что называется, судьбоносной: сын Поленова, Василий, будущий великий русский художник, стал учеником Хрущова; его дочь Вера — женой и единомышленником, а сам Дмитрий Васильевич и его жена Мария Алексеевна Воейкова — покровителями и старшими друзьями. После смерти тестя Хрущов отдал ему долг памяти, написав его первую (и единственную) биографию². Старший Поленов оказался в Олонецкой губернии непосредственно после освобождения крестьян и, как

¹ Жучков, Илья. Парашин лесок. СПб., 1862; 2-е изд. СПб., 1865.

крупный землевладелец, занимался здесь вопросами землеустройства. В прошлом у него была дипломатическая служба в Греции, опыт работы в Синоде, которые позволили ему проявить себя не только государственным деятелем, но и незаурядным ученым — археологом и библиографом. В письмах Дмитрий Васильевич и Мария Алексеевна благосклонно отзывались о Хрущове, отмечали его «даровитость» и «образованность». Многого стоят слова уже пожилого художника Василия Дмитриевича Поленова в письме к старшему другу и наставнику: «Перебирая в памяти минувшие годы, с каким чувством радости... я останавливаюсь на светлых, полных упоительных надежд шестидесятих годах. Твоя горячая, талантливая, глубоко человеческая проповедь... была ярким светом, озарившим нашу начинающуюся жизнь... Ты широко распахнул нам двери в светлый чертог разума... тот свет, что мы там увидели, был свет истинный, и до сих пор он мне светит и указывает путь».

Добавим, что и Вера Дмитриевна Хрущова, рано умершая, была талантливым и самоотверженным человеком. Вместе с сестрой, Е. Д. Поленовой, она организовала школу, устроила амбулаторию. В ее опубликованных посмертно мемуарах рассказывается о событиях русско-турецкой войны 1877—78 гг. (дежурства в киевских лазаретах, воспоминания солдат³). Вера Дмитриевна участвовала в подготовке иллюстрированной хрестоматии для детей; писала роман «Князь Курбский», оставшийся незавершенным.

Здесь же, в Петрозаводске, недавний друг Писарева и участник революционных событий начал сближение с правящим двором: совершая путешествие по России, в Олонецкой губернии остановился наследник престола цесаревич Николай Алексан-

² Хрущов И. П. Очерк жизни и деятельности Д. В. Поленова. СПб., 1879.

³ Хрущова В. Д. Кружок «круглой башни» // Вестник Европы. 1901. №1 —4.

дрович. Учитель Хрущов нашел повод представиться, организовал ему встречу с «певцом былин» К. И. Романовым, попутно ходатайствуя о переводе в столицу.хлопоты не пропали даром: после недолгой службы в Новгородской гимназии Иван Петрович причисляется к Министерству народного просвещения и командировается на два года за границу для подготовки к профессорскому званию. В подготовленной за эти годы и защищенной в 1868 г. под руководством И. И. Срезневского магистерской диссертации Хрущов заявил о себе как исследователь древнерусской литературы.

Работа Хрущова явилась важным этапом в изучении раннего иосифлянства и не потеряла историографического значения. В ней впервые была поставлена задача комплексного изучения истории текстов, принадлежавших Иосифу Волоцкому и его литературному окружению в контексте развития общественной и религиозной жизни на Руси конца XV — начала XVI вв. Хрущов сделал первые шаги по изучению социального состава братии Иосифо-Волоколамского монастыря, привлёк к исследованию большинство посланий, «Устав» и «Духовную грамоту» Волоцкого, реконструировав по ним быт обители, а также продолжил изучение состава монастырской библиотеки. Книга Хрущова, вызвавшая полемику¹, была удостоена в 1869 г. Уваровской премии².

По вопросам славянской медиевистики Хрущов писал и в дальнейшем. Особое внимание он уделяет «Слову о полку Игореве». В книге «О древнерусских исторических повестях и сказаниях. XI — XII столетие»³ автор высказал мысль, что «Слово...», несмотря на поэтическую форму, — не народно-эпическое произ-

¹ Винокуров Д. А. Из истории научных конфликтов в отечественной историографии XIX в. // Вестн. Челябин. гос. ун-та. Сер. «История». 2010. Вып. 10.

² Костомаров Н. И. Отзыв о книге г. Хрущова «Исследование о сочинениях Иосифа Волоцкого». СПб., 1870.

ведение; язык его не чужд языку литературных памятников. Та же мысль прослеживается и в рецензии на книгу П. П. Вяземского: отмечается заслуга автора, «полновесно доказывающего влияние византийской образованности на поэта, прославившего Игорев поход». Вышедшая книга рассматривалась как первая часть обширного труда, в котором Хрущов намеревался дойти до повестей о Куликовской битве (замысел не был осуществлен; материал второй части представлен как доклад на III Археологическом съезде в Киеве и выпущен отдельным изданием).

Заслугой Хрущова было не только изучение, но и популяризация памятников древнерусской литературы. Его книга «Беседы о древнерусской литературе»⁴, куда вошли и ранее опубликованные материалы, адресована широкому кругу читателей. Рецензент Валерий Брюсов отмечал, что книга «полезная и отвечающая своему назначению», а «язык автора чист», хотя «недостает ему истинной простоты»: «В стремлении к изобразительности автор на каждом шагу решается на олицетворения, делает восклицания и т. п., чем запутывает чтение»⁵. Ранее Хрущов подготовил и прокомментировал «Слово о полку Игореве» в серии «Издания для народа».

После защиты диссертации мы вновь видим нашего автора в Европе, где он знакомится с видными германистами, изучает опыт преподавания литературы в Германии и — вновь он приближен к венценосным особам! — читает курс русской словесности королеве Вюртембергской, великой княжне Вере Константиновне и герцогу Лейхтенбергскому.

Хрущов был связан и с Украиной: в Киеве он получил место доцента кафедры русской словесности университета Св. Влади-

³ Хрущов И. П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях. XI–XII столетие. Киев, 1878.

⁴ Хрущов И. П. Беседы о древнерусской литературе. СПб., 1900.

⁵ В. Я. <В. Я. Брюсов>. Хрущов И. П. Беседы о древнерусской литературе. СПб., 1900. // Русский Архив. 1900. Т. 3.

мира и провел здесь 1870-е гг., будучи одновременно секретарем исторического общества Нестора Летописца и инспектором классов института благородных девиц. В киевский период Хрущов продолжает активно писать, а его карьера продвигается: в 1875 г. он произведен в камер-юнкеры. На Украине Иван Петрович через много лет окажется еще раз, в должности попечителя Харьковского учебного округа, а в конце 1870-х гг. карьерный рост приводит его в Петербург, в Ведомство учреждений императрицы Марии. В то же время он начинает работать в Министерстве народного просвещения, в его ученом комитете и издательском обществе при постоянной комиссии народных чтений. На этом поприще Хрущов проявил себя как автор¹ и редактор² народных изданий и организатор народных библиотек. Однако начиналась другая эпоха: портфель министра перешел от Д. А. Толстого (по словам С. Ю. Витте, «крупной личности»), пятнадцать лет управлявшего Министерством и обеспечившего подъем российского университетского образования во время «великих реформ», через временные фигуры Сабурова и Николаи, к И. Д. Делянову, который оставался в должности до 1897 г. и символизировал «охранительные» тенденции в сфере образования. Каденция Делянова была временем высшего подъема карьеры Хрущова: с 1882 г. он был чиновником особых поручений при министре. Удивительные совпадения отмечаются в отзывах современников.

«Делянов был очень милый, добрый человек, и вопросы Министерства народного просвещения вообще были ему не чужды.

¹ Хрущов И. П. Владимир Мономах, великий князь киевский, правнук Владимира Святого, и его завещание. СПб., 1883; 5-е изд., 1916; Нашествие татар и князь Михаил Тверской. СПб., 1884; 6-е изд., 1904; Минин и князь Пожарский. СПб., 1884; Богомольцы у святынь Киева. Лавра. Ч. 1. СПб., 1884; 7-е изд., 1915; Богомольцы у святынь Киева. Старый Киев. Ч. 2. СПб., 1890; 4-е изд., 1898.

² Настольная книга для народа. СПб., 1891.

Он был человек культурный, образованный... Он никогда никаких резких вещей не делал, всегда лавировал, держась того направления, которое в то время было преобладающим... Вообще он лавировал на все стороны»¹.

Журналист Е. Феоктистов выразился еще определеннее: «Делянов представлял собой идеальный пример того, как можно у нас достигнуть весьма высокого положения без сколькихнибудь выдающихся заслуг...», а известный мемуарист С. М. Волконский, сын товарища министра народного просвещения М. С. Волконского, писал: «...аппарат, созданный при Александре II железною рукой графа Толстого, никого не удовлетворивший, всех озлобивший, при Александре III перешел в мягкие руки Делянова. Иван Давыдович Делянов был удивительное явление в русской чиновной летописи... Его мягкость, слабость, безволие — уж не знаю, как назвать — нельзя даже описать»².

По-видимому, установившиеся порядки оказались близки и понятны Хрущову. Так, на заседании особого ученого комитета Министерства, положительно оценив рассказы Ф. М. Достоевского «Мужик Марей» и «Столетняя», он выступил против включения рассказа «Мальчик у Христа на елке» в библиотеки средних учебных заведений и программы народных школ: «Достоевский мог любить детей, но менее подходящего к детскому возрасту писателя не существует»; «нужно ли это сопоставление <богатства> и неприкрытой бедности?»³. В ином случае, выступив со статьей «Что наши дети читают?»⁴, он раскритиковал сборник «Русским детям. Из сочинений Ф. М. Достоевско-

¹ Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 1. С. 311.

² Волконский С. М. Мои воспоминания: В 2 т. М.: Искусство, 1992. Т. 2. Родина. С. 54.

³ Волгин И. Л. Достоевский и правительственная политика в области просвещения (1881–1917) // Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 4. М., 1980. С. 195.

го», составленный О. Ф. Миллером, за включение отрывков из «Бедных людей», «Неточки Незвановой», «Братьев Карамазовых», которые могут «воспитать озлобленное чувство и никак уже не будут способствовать развитию нравственной силы». Преданная служба не осталась незамеченной: в 1885 г. Хрущов пожалован в камергеры, в 1888 г. назначен членом основного отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения, с 1890 г. он был членом министерского совета, а с 1894 г. — тайным советником. Е. Н. Опочинин в своих воспоминаниях о П. П. Вяземском так описывал позднего Хрущова: «И. П. Хрущов являл собою яркий тип карьериста-бюрократа. Он кое-как добрался до генеральского чина, был этим страшно горд, но на этом и кончилась его удача... С виду это был человек среднего роста, пожалуй, немного полный, с пухлыми щеками, обрамленными густыми темными баками, среди которых выделялся пробритый подбородок. Лысеющая голова, игривые и хитрые глазки на пошлом лице дополняли наружность этого экс-профессора. Ходил он плавно, важной генеральской поступью, говорил медленно и тягуче-слащавым голосом, манерничая и играя словами»⁵.

И, словно вторя этому описанию, уже цитировавшийся С. М. Волконский приводит такой анекдот: «...на каком-то концерте или общественном балу в Харькове (*речь идет о годах попечительства Хрущова в Харьковском учебном округе в конце 1890-х гг. — К. Б.*) Хрущов замечает студента, который, в то время как все прочие отвешивают ему поклоны, стоит, невозмутимо озирая и толпу, и его. Несколько раз он проходил мимо непочтительного юноши и наконец не выдержал; подходит и самым язвительным тоном, на какой только способна его мелкая природа: „Позвольте, молодой человек, представиться: попечитель

⁴ Санкт-петербургские Ведомости. 1883. 13 дек.

⁵ Опочинин Е. Н. Кн. П. П. Вяземский. 1928. РГАЛИ, ф. 361, оп. 1, ед. хр. 10.

здешнего учебного округа“. — „Очень приятно. Такой-то, студент Московского университета“»¹.

Казалось бы, вывод однозначен. Но, в то же время, Хрущов оставил по себе добрую память в Тамбове: он помогал в разработке устава местного Общества по устройству народных чтений, а затем торжественно открыл Общество, выступив с лекцией об Александре Невском. По просьбе шурина, В. Д. Поленова, Иван Петрович приезжал в имение Ольшанка для приведения в порядок старинных семейных библиотек Д. В. Поленова и Л. А. Воейкова, которые были переданы Обществу по устройству народных чтений и легли в основу Тамбовской городской библиотеки.

В конце своего творческого пути Хрущов выпустил «Сборник литературных, исторических и этнографических статей»², почти полностью собранный из опубликованных, преимущественно в периодике, сочинений. Критически отозвавшись о составе сборника, в который автор включил некоторые работы с устаревшими сведениями, рецензент Брюсов высоко оценил воспоминания о цесаревиче Николае Александровиче и королеве Вюртембергской, отметил ряд заслуживающих внимания материалов, в т. ч. «Впечатления одного из депутатов на открытии памятника Пушкину...», где звучит «голос современника», «Заметки о русских жителях берегов реки Ояти», «Современные дешевые издания для народного чтения» и др. Отдавая семейный долг памяти, Хрущов написал предисловие к воспоминаниям В. Н. Воейковой, бабушки своей жены, дочери Н. А. Львова и воспитанницы Г. Р. Державина.

По-видимому, исток двойственности самоощущения и поведения был заложен в самой натуре Хрущова: пытаясь в выгодном свете мотивировать свою непоследовательность, он писал

¹ Волконский С. М. Указ. соч. С. 59—60.

² Хрущов И. П. Сборник литературных, исторических и этнографических статей. СПб., 1901.

в дневнике в молодости: «Отчего я хватаюсь за то, что мне нравится, сперва сгоряча вижу в этом правду, потом несколько остываю и, наконец, перехожу к противоположному мнению. Оттого ли, что я поэт?..» Однако в печати Хрущов выступил как поэт лишь однажды, напечатав цикл патриотических стихов, которые он читал на заседании Славянского благотворительного общества («...Древний плен свой забывая, / Светит ныне Русь святая / Степи, прежде роковой, / Путеводною звездой» ...)¹

¹ Хрущов И. П. Песня о стародавней поре. СПб., 1891. С. 16.

БИБЛИОТЕКА

Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко всегда была для харьковской интеллигенции тихой гаванью. В 2013 г., на очередном трудном отрезке моей жизни, библиотека пришла мне на помощь: благодаря директору, покойной В. Д. Ракитянской, и заведующему научно-исследовательским отделом документоведения, редких изданий и рукописей И. Я. Лосиевскому я получил место библиотекаря, затем — заведующего сектором научно-исследовательской работы. Увы, в силу ряда обстоятельств через полтора года мне пришлось покинуть библиотеку, родной город и страну, в которой я жил. Благословенному времени работы в библиотеке обязаны своим появлением эти справочно-библиографические очерки.

ПОДВИЖНИК АГИОГРАФИИ. АРСЕНИЙ КАДЛУБОВСКИЙ

Арсений Петрович Кадлубовский — историк русской литературы, филолог, университетский преподаватель, был одним из первых сотрудников Харьковской общественной библиотеки.

В сведениях о себе он указывал, что родился в Москве 2 (14) марта 1867 г., учился в 3-й Санкт-Петербургской и Нежинской гимназиях. Последнюю (принадлежала к славному историко-филологическому институту кн. Безбородко) юноша закончил с золотой медалью в 1884 г. и поступил в этот институт на словесное отделение. Курс обучения студент Кадлубовский закончил в 1888 г.; с тех пор началась и его педагогическая деятельность в Харьковской женской гимназии Д. Д. Оболенской (учитель русского языка) и прогимназии (учитель латинского языка).



А. П. Кадлубовский

Вскоре он вернулся в alma mater: в 1890—1899 гг. занимал должность наставника студентов Института кн. Безбородко. Его деятельность в эти годы была разнообразной: выдержав магистерский экзамен на историко-филологическом факультете Харьковского университета, Арсений Петрович стал преподавателем (читал лекции по развитию теории поэзии и поэтических родов), был секретарем историко-филологического общества. С сентября 1899 г. служебная и научная деятельность Кадлубовского целиком связана с Харьковом. Он начал преподавать в 3-й Харьковской гимназии (кстати, среди его учеников был будущий академик А. И. Белецкий) и почти одновременно — в университете на кафедре русского языка и словесности, где коллегами Кадлубовского были известные специалисты — профессора Н. Ф. Сумцов и М. Г. Халанский.

Педагогическая нагрузка приват-доцента Кадлубовского состояла из ряда специальных курсов: истории русской драматической литературы, старинной повести, апокрифов и легенд в русской литературе, литературных направлений Московской Руси. Кроме того, он вел практические занятия по чтению и разбору фольклорных памятников (былин, духовных стихов, лирико-эпических песен), старинных повестей. Молодой педагог был

одним из участников внедрения женского образования: читал публичные курсы для женщин по изучению русской народной словесности.

В 1902 г. Кадлубовский защитил в Варшаве магистерскую диссертацию «Очерки по истории древнерусской литературы житий святых», которая вышла в том же году отдельным изданием и поставила имя ученого рядом с именем В. О. Ключевского, других исследователей агиографии, доставив ему признание в филологической науке тогдашней России. Как считают современные исследователи, эта книга впервые аргументированно опровергала концепцию Василия Ключевского, который довольно низко оценивал источниковедческий потенциал житийной литературы. В предисловии к «Очеркам...» автор объясняет свое обращение к житийному жанру и отмечает четыре аспекта исследований в трудах предшественников: литературная форма, легендарные мотивы, морально-религиозное мировоззрение и исторические источники. Отдавая должное тем авторам, которые пытались исследовать агиографические произведения в названных аспектах (Ф. Буслаев, С. Шевырев), Кадлубовский особенно подробно останавливается на трудах Ключевского, отмечая их большое значение в разработке проблем агиографии и одновременно негативное влияние на научную традицию: великий историк оставил впечатление исчерпанности предмета и отказал житиям как историческому источнику в ценности. Работу Ключевского пытался продолжить И. К. Яхонтов в своей книге «Жития святых Поморского края как исторический источник» (1881), но он только усилил негативный взгляд на агиографию в этом аспекте. Кроме того, отмечает Кадлубовский, исследования осложнялись тем, что рукописные тексты многих житий не были опубликованы, а затем стали труднодоступными, и новые поколения ученых не принимались за поиски рукописных материалов, не считая их перспективными.

Итак, поставив целью опровергнуть такой односторонний подход и вновь привлечь внимание к одному из ведущих древнерусских жанров, А. П. Кадлубовский был уверен, что изучение

житий возможно и после Ключевского, особенно если рассматривать легендарные мотивы и религиозное мировоззрение агиографа. Именно это и стало целью работы ученого. Структуру книги составляют пять отдельных очерков, четыре из которых посвящены литературной истории легенд об Авраамии Ростовском, Меркурии Смоленском, Никите Переяславском и легенд Волоколамского патерика, а пятый, самый большой по объему и широкий по содержанию, анализирует развитие религиозной мысли Московской Руси от Епифания Премудрого и Пахомия Логофета до Макария и его последователей. Таким образом, труд Кадлубовского заложил основы дальнейшего изучения житийного жанра, не потеряв до сих пор своей актуальности.

В 1903 г. вместе с коллегами по университету исследователь участвовал в заседаниях Предварительного комитета по проведению Съезда славянских филологов при Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге. В декабре 1906 г. он был избран секретарем историко-филологического факультета. В то же время начинается деятельность Кадлубовского как сотрудника Харьковской общественной библиотеки (*далее* — ХОБ). Впервые его имя упоминается в отчетах ХОБ за 1901 г., когда на собрании членов библиотеки он был избран кандидатом в члены правления¹. В 1902 г. он становится членом ХОБ и с этого года неизменно им остается; также с этого года Арсений Петрович — в правлении библиотеки (каждые три года члены правления выбывали по ротации, а затем возвращались после переизбрания). В 1907–1908 гг. Кадлубовский исполнял обязанности товарища председателя правления². Эти годы были, вероятно, наиболее спокойными и плодотворными в жизни ученого. Среди его функций в качестве кандидата и члена правления ХОБ — корреспон-

¹ Отчет Харьковской общественной библиотеки за 16-й год ее существования. Харьков, 1902. С. 2.

² Отчет Харьковской общественной библиотеки за 22-й год ее существования. Харьков, 1908. С. 2.

денция с авторами и издателями, научными обществами и правительственными учреждениями по поводу бесплатной высылки изданий; ведение протоколов собраний; заведование архивом (эту обязанность он разделял с 1903 г. с В. И. Саввой, а также Н. А. Масловым, К. А. Медерским в течение ряда лет); впоследствии к ним добавились другие функции: подписка периодических изданий, заведование нотным абонементом, отделом библиотковедения, наблюдение за пополнением отделов каталога новыми книгами.

Следует отметить, что Харьковская общественная библиотека с первых лет своего существования работала не только как просветительское, но и как научное учреждение: ведь ведущие ученые, исследователи, преподаватели университета были администраторами, фондообразователями, работниками ХОБ, которая развивалась в постоянной связи именно с библиотеками Харьковского университета и Историко-филологического общества. В 1903 г. по инициативе председателя правления Харьковской общественной библиотеки Д. И. Багалея в библиотеке был создан отдел рукописей и автографов¹, основной задачей которого стало выявление «писем, мемуаров, записок, автографов» в частных собраниях, обращение к выдающимся деятелям в России и за рубежом с просьбой о присылке автографов, организация их хранения и научного описания. Когда отдел начал свою деятельность, эта работа была также поручена А. П. Кадлубовскому и В. И. Савве. Арсений Петрович был причастен к созданию режима специального комплексного хранения памятников печати и письменности, предусматривающего дальнейшее научное раскрытие этих коллекций. Если вспомнить, что эта разнообразная деятельность сочеталась с напряженной преподавательской и научной работой, нагрузкой Председателя библиотечной комиссии библиотеки Харьковско-

¹ Отчет Харьковской общественной библиотеки за 17-й год ее существования... Прил. 5. С. 37.

го университета, становится понятным гражданский и научный подвиг, который был нормой жизни и Арсения Кадлубовского, и его коллег и друзей — интеллигентов, служивших своей стране и народу на ниве народного просвещения. Харьковская общественность достойно отметила заслуги ученого: в 1913 г. библиотека чествовала его в связи с 25-летием учено-литературной, педагогической и общественной деятельности.

В годы Первой мировой войны Кадлубовский навсегда покинул Харьков и переехал в Петроград, читал курс в Петроградском университете; потом судьба привела его в Пермь, где в 1916–1917 гг. он преподавал древнерусскую литературу в университете. Пермский университет открылся в октябре 1916 г. как отделение Петроградского, и Кадлубовский был одновременно деканом историко-филологического факультета и первым директором университетской научной библиотеки, занимался также фольклорными и этнографическими изысканиями. Искренние воспоминания оставил о нем и об исключительной атмосфере творческого научного поиска в тогдашней Перми Г. В. Вернадский, который, в частности, писал: «... древнюю русскую литературу читал бывший профессор Варшавского <так!> Университета Арсений Петрович Кадлубовский, глубокий историк русских святых, сам искренне верующий православный».

В последние годы жизни — в 1919–1920 гг. — Арсений Петрович жил в Крыму, был профессором Таврического университета, где дружил с Сергеем Булгаковым и семьей Вернадских. После окончательного утверждения советской власти в Крыму в ноябре 1920 г. исследователь был вынужден эмигрировать и вскоре умер близ Константинополя, в самом конце 1920 или весной 1921 г. Научный потенциал А. П. Кадлубовского воплотился в его трудах, хранящихся в харьковских библиотеках и свидетельствующих о широте интересов ученого.



Л. Лившиц и Б. Окуджава

ВОПРЕКИ ВРЕМЕНИ. ЛЕВ ЛИВШИЦ

Личный архивный фонд Л. Я. Лившица является частью коллекции личных архивных фондов научно-исследовательского отдела документоведения, редких изданий и рукописей Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко, насчитывающей к настоящему времени около 70 таких собраний. Его появление в библиотеке относится к середине 2000-х гг., и всего в фонде насчитывается 67 единиц хранения. Фонду присвоен номер 44, под которым он находится на полках хранилища (в алфавитном порядке других архивных фондов) и представлен в печатной описи, доступной всем читателям и исследователям, работающим в отделе. Анализируя опись и при необходимости обращаясь к документам *de visu*, исследователь получает сведения о составе, содержании и ценности собрания, переданного библиотеке владельцем — Т. Л. Лившиц-Азаз, дочерью Л. Я. Лившица, отдельных его единиц, и, конечно, о жизни и деятельности фондообразователя.

Как правило, личные архивные фонды отличаются по характеру и полноте документов, но обычно содержат документы творческой, или научной, или педагогической, или обществен-

ной деятельности, зачастую рукописи, но возможно и печатные материалы — статьи и книги; фотодокументы; материалы других лиц о фондообразователе. Эта общая структура элементов личного архивного фонда, определяющая и композицию описей, вполне применима к фонду Л. Я. Лившица, с уточнением, что львиную долю его составляют именно материалы научной и педагогической деятельности. Так, из 67 единиц, значащихся по описи, 37 (более половины) составляет курс лекций по истории русской литературы, разработанный и читавшийся Л. Я. Лившицем на филологическом факультете Харьковского университета во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг., — рукописный комплекс, охватывающий огромный объем университетской программы, от древнерусской литературы до творчества Горького. Каждая лекция и каждая тема представлена полным текстом. Эти пожелтевшие листы свидетельствуют о напряженном внимании преподавателя к тому, что он говорит (обилие зачеркиваний, тщательный выбор слова, фразы), о желании сделать свою мысль более гибкой, доступной, о постоянном поиске и новых сведений, и яркой формы изложения. Конспекты, их характерный почерк словно хранят отпечаток личности автора, дают почувствовать обаяние Лившица-лектора, о котором много сказано и написано современниками и учениками.

В фонде хранятся материалы научной работы Льва Яковлевича, в основном, последних лет жизни, когда он сосредоточился на изучении творчества И. Бабеля. Так, здесь мы найдем тщательно составленный обзор прессы по единственной постановке пьесы «Закат» 1928 г., оттиски прижизненных и посмертных журнальных публикаций, среди которых особую важность имеют материалы к творческой биографии Бабеля — работа, из которой должна была вырасти первая настоящая научная биография писателя, так, к сожалению, и неосуществленная. Следует отметить и сохранившийся редкий экземпляр бабелевского киносценария «Беня Крик» с текстологической правкой Лившица. Также в описываемой части фонда привлекает внимание папка с шиф-

ром Р-842, в которой хранятся записи, наброски, планы выступлений по театроведческой тематике 1963–1964 гг. Эта единица хранения, подобно окошку, приоткрывающемуся в творческую лабораторию мастера, дает шанс проследить за процессом научного поиска и постепенного оформления его результатов.

Важнейшее свойство фонда Лившица — его хронологическая протяженность, позволяющая увидеть жизнь и судьбу наследия ученого в перспективе времени. Свидетельства этому — в основном документы мемуарно-эпистолярной части собрания, среди которых письмо вдовы Льва Яковлевича о сохранившихся в архиве Лившица материалах творчества Бабеля, переписка по поводу зарождения и претворения в жизнь идеи Чтений молодых ученых — тех самых, которые собирали участников в Харькове в течение 19 лет, с 1996 по 2014 г. Надо заметить, что в фонде хранятся первые выпуски сборников Чтений, но неполнота их подборки вызывает естественное сожаление хранителей и желание получить полный комплект. Среди авторов писем встречаются известные имена Шимона Маркиша и Антонины Пирожковой — вдовы Бабеля; среди авторов отзывов и рецензий на работы Л. Я. Лившица — Константин Рудницкий и Роман Тименчик. Все эти ценные документы дополнены фотоснимками — фондообразователя, его родных и друзей на протяжении 1930-х — 1990-х гг., презентаций сборника его работ.

Логичным завершением собрания служат книги, прежде всего — два выпуска «Хрестоматии критических материалов по русской литературе XIX в.», подготовленной Л. Я. Лившицем в соавторстве с М. Г. Зельдовичем и на долгие годы ставшей для филологов-русистов незаменимым источником; два издания книги «О Лёве Лившице», составленной из воспоминаний его другом Б. Л. Милявским.

Фонд Л. Я. Лившица сравнительно небольшой, но его состав репрезентативен и разносторонне отражает неповторимую личность человека и ученого.



Л. М. Яновская

БУЛГАКОВ И ХАРЬКОВ. ЛИДИЯ ЯНОВСКАЯ

Система архивных фондов деятелей культуры, литературы, искусства, хранящихся в Харьковской государственной научной библиотеке им. В. Г. Короленко, в течение 2013–2014 гг. пополнилась материалами личного архива известного литературоведа, исследователя биографии и творчества М. А. Булгакова, харьковчанки Лидии Марковны Яновской. Жизненный и творческий путь человека, причастного к наиболее интересным и одновременно загадочным и драматичным страницам истории литературы, рельефно и разнообразно отражается в ее наследии, бережно сохраненном потомками и переданном в дар библиотеке.

Вспомним важнейшие вехи этого пути. Лидия Гурович родилась, как и ее любимый писатель, в Киеве, в 1926 г. В детстве она, как и юный Михаил Булгаков, была влюблена в киевские улицы, холмы и пейзажи; об этом писала впоследствии в биографических трудах о писателе. Выбирая будущую профессию, она училась на филологическом факультете Киевского

университета в печально знаменитые времена «борьбы с космополитизмом», встретившись тогда впервые с мощной машиной государственного антисемитизма. К сожалению, такие встречи происходили в ее жизни и в дальнейшем.

Выбор темы научной работы студентка Гурович сделала в пользу творчества И. Ильфа и Е. Петрова и десять лет посвятила его изучению, защитив впоследствии диссертацию, выпустив книгу «Почему вы пишете смешно?», которая выдержала два издания. Судьбоносное событие ее творческой жизни произошло в 1962 г. — случайная встреча с только что вышедшей книгой Булгакова о Мольере на уличном книжном прилавке. Как вспоминала сама Лидия Марковна, это было подобно вспышке молнии. С тех пор она уже не покидала Булгакова и за полвека стала одним из самых авторитетных в мире специалистов по научной биографии писателя, творческой истории его текстов и их публикации. В последующие десятилетия она работала в булгаковском архиве, собирала редкие публикации, писала статьи, выступала с докладами, давала интервью, готовила к печати книги писателя. Яновская столкнулась с «официальным» булгаковедением и испытала разочарование; ее принципиальность в отстаивании своей точки зрения принесла ей немало переживаний и заставила придерживаться суровой осмотрительности в профессиональной жизни. Далеко не все факты полудетективной истории булгаковского архива пока что известны, не все они имеют однозначное истолкование, а потому не следует пытаться определить здесь и сейчас, что было на самом деле. Важно другое: Яновская последовательно придерживалась своей позиции и своих убеждений, пыталась привлечь внимание общественности к установленным ею лакунам и потерям среди документов писателя. Эта борьба в конце концов показалась ей напрасной; в темные и ненадежные девяностые годы, чувствуя, что сил уже нет, Яновская приняла тяжелое и необратимое решение покинуть родину, с которой была связана не только биографией, но и всем существом ученого, исследователя. В 1992 г. она переехала в Израиль. Как

не вспомнить здесь слова ее главного героя, произнесенные во время одного из труднейших испытаний его жизни — телефонного разговора со Сталиным: «Русский писатель не может жить без родины!» Яновская, очевидно, это мнение разделяла, но жить продолжила, не поддавшись отчаянию и упорно работала, выпустив еще книгу, десятки статей, вступив в союз писателей Израиля и став заметной фигурой среди эмиграции 90-х годов. Ей была суждена долгая жизнь: Лидия Марковна умерла в 2011 г.

И оглядываясь теперь на ее путь, мы не можем не отметить впечатляющей цельности, мужества, силы убеждений, присущих этой необыкновенной женщине, поэтичности и точности ее научного стиля, энергии и самоотдачи в поиске истины, исключительного богатства фактического материала, который отразился в творчестве Л. М. Яновской. Личный фонд, переданный библиотеке сыном, Андреем Яновским, получил номер 61, за прошедшие годы он был обработан и описан. Архив содержит почти все группы документов. Кратко охарактеризуем их по основным признакам.

Наиболее ценной частью архива следует считать творческие рукописи исследовательницы, материалы ее текстологической работы и обработки документов из архива М. Булгакова. Особенностью черновой работы Яновской было использование отдельных блокнотов и небольших листов бумаги, подобранных в папках, а также ученических тетрадей. В этих рукописях — выписки из архивного фонда №562 (Булгакова) в Российской государственной библиотеке (бывшая библиотека им. В. И. Ленина): письма и дневник Е. С. Булгаковой, описание библиотеки писателя, выписки из научного описания фонда, подготовленного М. О. Чудаковой. В течение многих лет Яновская собирала биографические сведения о семье Булгаковых, в частности, о деятельности отца писателя, А. И. Булгакова, о тогдашнем Киеве, гимназии, где учился Михаил, о кавказском периоде его жизни.

Все это также отражено в рукописной части архива. К ней же принадлежит большая группа документов о творче-

ской истории текстов Булгакова: переписанные неопубликованные произведения, заметки по истории их написания, отзывы современников, реконструкции текстов, подготовленных к публикации, предположения об источниках и трактовках отдельных мотивов и образов в широко теперь известных, а тогда почти неведомых шедеврах булгаковской прозы и драматургии. Здесь же хранятся машинописные тексты статей и книг с правками Яновской; тексты статей и докладов последних пятнадцати лет в компьютерном наборе.

Очень важна для понимания творческого и научного пути писательницы коллекция ее печатных работ — публикаций в журналах и газетах на протяжении всей ее деятельности: от первых работ об Ильфе и Петрове в «Молодой гвардии» 1956 — 1957 г. к последним — в журнале «Рижский Библиофил» 2010 г. Они хранились в копиях, вырезках, отдельных оттисках, а иногда и в полных экземплярах. Яновская печаталась (преодолевая трудности и преграды) в солидных, авторитетных научных изданиях (например, «Вопросах литературы») и литературно-художественных журналах, как центральных («Октябрь», «Знамя», «Юность», «Советская литература» на языках народов мира), так и региональных (ленинградские «Звезда», «Нева», рижская «Даугава», «Урал» и т. д.). Последние годы она публиковалась в эмигрантской (американской и израильской) русскоязычной прессе — «Зеркало», «Родник», «Новый журнал», «Слово писателя», «Чайка».

Отдельной частью раздела публикаций являются экземпляры изданий всех книг Л. М. Яновской — «Почему вы пишете смешно?», «Творческий путь Михаила Булгакова», «Треугольник Воланда», «Записки о Михаиле Булгакове». Выход каждой из этих книг в свое время был событием в науке, вызывал многочисленные отзывы, полемику. У каждой из них была своя судьба, свой успех у читателя, но ни одна не прошла незамеченной. Они отмечены высоким литературным мастерством и принадлежат к лучшим образцам филологической прозы XX в.

Л. М. Яновская в течение своей творческой жизни поддерживала активную переписку со многими корреспондентами, и их письма, а также отдельные копии писем Яновской отложились в массиве ее документов.

Среди них отметим переписку с издателями первой книги о творчестве Ильфа и Петрова, а также последней — «Записок о Михаиле Булгакове»; с редакциями газет и журналов по поводу ее публикаций, а особенно острую переписку 1987–1988 гг. по поводу лакун в архиве Булгакова. Среди писем последних лет — благодарность за присланные в библиотеки книги, общение с американскими коллегами. Исследовательница поддерживала деловые и приятельские отношения со всеми женами Михаила Афанасьевича, о чем свидетельствуют дружеские письма и почтовые открытки Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской, Е. С. Булгаковой. Среди корреспондентов писательницы — академик Д. С. Лихачев, писатели К. М. Симонов, Ю. В. Бондарев. Немало писем она писала и получала от коллег из Москвы и Ленинграда: Я. С. Лурье, Б. С. Мягкова, Ю. М. Кривоносова и др. Иногда профессиональная переписка так плотно сплетается с дружеской, что образуется личный документ и одновременно портрет или очерк времени. Именно так продолжалось многолетнее эпистолярное общение с харьковчанами В. Юхтом, М. Красиковым, А. Лукашем. К этой группе документов относятся и последние, полные печали и соболезнований, присланные ее мужу послания по поводу смерти Лидии Марковны.

В фонде хранится немало фотографий, но только несколько — самого фондообразователя. Остальные — фотографии Булгакова (портреты, коллективные фото), а также снимки, связанные с его жизнью и творчеством (виды Киева, интерьеры московских квартир, сцены из спектаклей по пьесам Булгакова, афиши). Многие из них являются копиями из частного московского архива Ю. Кривоносова. При отсутствии других средств воспроизведения и копирования Яновская часто фотографировала архивные материалы, в частности, акты передачи архива Булгакова в Библиотеку им. В. И. Ленина, страницы рукописей

писателя (особенно — «Мастера и Маргариты»), письма известных корреспондентов (К. М. Симонова, Е. С. Булгаковой).

Последней, но не менее важной и интересной группой документов являются некоторые материалы частной библиотеки Яновской: книги, газетные и журнальные вырезки, которые накапливались годами. В «Открытом письме» в «Литературную газету» — документе, широко распространившемся среди читателей, — Яновская с горечью писала о расставании с книгами своей библиотеки, так как у нее не было возможности все их забрать с собой. Но некоторые, наиболее ценные для нее, она сохранила. Теперь они снова в Харькове. Среди них, прежде всего, книги с дарственными надписями авторов (Б. Мягкова, В. Соколова, С. Ермолинского, В. Лосева, Т. Лившиц-Азаз, А. Ильф (дочери писателя), Г. Кановича, Ю. Некрутенко), а также все важнейшие издания произведений Булгакова в СССР, Украине, России, включая отдельные тома из 10-томного американского издания под редакцией Э. Проффер. Также имеются в этом фрагменте библиотеки (всего более чем 230 экземпляров) работы по булгаковедению с пометами читателя, с учетом последних работ, выходивших в годы эмигрантской жизни Яновской. Отдельные книги связаны с важнейшей темой жизни Яновской — Булгаковым: произведения Гете, Ренана, исторические повести XIX в., материалы по истории гражданской войны на Украине, труды А. Меня, записки актеров, режиссеров, драматургов. Книги продолжают жить своей жизнью; их судьба, что, как известно, у каждой книги своя, своеобразно отражает судьбу и неповторимую личность их хозяйки, напоминая о ней потомкам и будущим исследователям. В библиотеке Лидии Марковны хранились также вырезки и ксерокопии, а в последнее время и распечатки из Интернет-изданий на булгаковские темы: статьи Б. Мягкова, С. Житомирской, И. Волгина, М. Золотоносова, И. Бэлзы, М. Чудаковой (кстати, среди них и первая рецензия Мариэтты Омаровны на книгу «Почему вы пишете смешно?», вышедшая в «Вопросах литературы» в 1965 г., с критикой в адрес автора. Можно предположить, что печально

известная история недоразумений между двумя известными специалистами-булгаковедом 1980-х гг. имела достаточно давние истоки).

Научный потенциал личного архивного фонда Л. М. Яновской в ХГНБ им. В. Г. Короленко еще ждет своего раскрытия. Но уже сегодня понятно его значение для понимания судеб науки о литературе в XX в.

ДОСУГИ

Чем только филолог не занимается на досуге! Поиски и находки занятий в стороне от магистральной темы исследований иногда выливаются в очерки, жанр которых определить трудно. Пусть они так и останутся — очерками смешанных жанров.

ГОЛОСА «ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ»

«Всякая Всячина» — под таким названием в начале января 1769 г. в Петербурге, в академическом издательстве начал выходить новый журнал. Деньги за издание вносил Г. В. Козицкий, бывший в ту пору секретарем Екатерины II для «принятия челобитен» и возглавлявший «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг».

Журналы уже не были в России чем-то диковинным: еще с 1750-х годов существовал почтенный академический журнал ученых новостей, переводов и критической библиографии «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие»; преподаватели и выпускники престижного Сухопутного шляхетного корпуса — молодые писатели и переводчики — издавали «Праздное время, в пользу употребленное»; поэты «кружка Хераскова» в Москве участвовали в нескольких друг за другом выходивших периодических изданиях — «Полезное увеселение», «Свободные часы», «Доброе намерение»; наконец, была предпринята попытка издания частного журнала — «Трудолюбивой пчелы» Сумарокова. Эти издания, выходившие на протяжении 1750-х—60-х годов, воспроизводили одну и ту же модель: редакторские коллективы журналов, патронировавшиеся властью и разделявшие ее взгляды. К этой же группе можно отнести журнал «Всякая Всячина». И все же «Всякая Всячина» стала первым

образцом сатирического направления в журналистике. Это издание было не только заметным событием 1769–1770 гг., но сохраняло свое значение и позже, с появлением журналов Н. И. Новикова, Ф. А. Эмина, затем И. А. Крылова — ведь оно было и родоначальником, и оппонентом такого рода журналов в споре о предназначении и границах сатиры. Неофициальным издателем еженедельника была Екатерина II — журналист, публицист и драматург, чье творчество к настоящему моменту еще не получило должной оценки. Ей принадлежат на страницах «Всякой Всячины» рассуждения от имени «Патрикея Правдомыслова».

Публикация литературного наследия Екатерины началась в XIX в.: издания А. Ф. Смирдина, В. Ф. Солнцева, А. Ф. Маркса и самое полное, академическое издание под редакцией А. Н. Пыпина, выходящее в 1901–1907 гг., казалось бы, учитывают обширное наследие «писательницы на троне», однако ни в одном из них наш журнал не воспроизводился. С одной стороны, участие Екатерины в нем не было общеизвестным и общепризнанным, с другой — атрибуция ей отдельных статей была гипотетической. Начиная с середины XIX в. были сделаны важные шаги в изучении «Всякой Всячины»: в 1839 г. в «Отечественных записках» появилась заметка М. Макарова «Библиографические редкости («Всякая Всячина», еженедельник на 1769 г., издававшийся с «Барышком» Г. В. Козицким)»; в том же журнале в 1855 г. публиковалось разыскание А. Н. Афанасьева «Русские сатирические журналы 1769–1774 гг. Эпизод из истории русской литературы XVIII в». Известное сочинение Н. А. Добролюбова «Русская сатира в век Екатерины» появилось в «Современнике» в 1859 г., а годом позже в «Русском слове» Д. Л. Мордовцев выступил с работой «Обличительная литература в первых русских журналах и стеснение гласности». Журналы Екатерины II упоминались в трудах по истории русской журналистики (А. П. Пятковский), а затем стали предметом ряда статей и книг В. П. Семенникова — известного исследователя редких изданий, библиофила и книго-

веда начала XX в. («Русские сатирические журналы 1769—1774 гг. (разыскания об издателях и сотрудниках)», «Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II»). Отдельные аспекты истории еженедельника, как, например, взаимоотношения с английским журналом «Зритель», выходившим в начале XVIII в. под редакцией просветителей Аддисона и Стиля, были рассмотрены В. Ф. Солнцевым и В. Лазурским; «Всякой Всячине» было посвящено монографическое исследование Н. П. Автономова, печатавшееся в «Чтениях Общества любителей истории и древностей Российских» и вышедшее отдельным изданием в 1913 г. В советское время «Всякая Всячина» кратко упоминалась в общих работах по истории русской литературы и журналистики, начиная с учебника Г. А. Гуковского, а затем у П. Н. Беркова, А. В. Западова и др. в контексте критики просветительской программы правительства, екатерининской литературной политики и консервативной позиции, которую заняла «Всякая Всячина» в полемике с «Трутом».

Как же с позиций наших сегодняшних знаний оценить этот, говоря современным языком, культурный проект? Важно отметить, что «Всякая Всячина» выступила в роли законодателя литературных вкусов и выходила с продуманной эстетической установкой: «я хотел показать, первое — что люди иногда могут быть приведены к тому, чтобы смеяться самим себе; второе, открыть дорогу тем, кои умнее меня, давать людям наставления, забавляя их, и третье — говорить русским о русских и не представлять им умоначертаний, кои оные не знают» (*из заключительного обращения к читателю*).

Журнал декларировал на своих страницах: «не целить на особ, а единственно на пороки», и потому с названием и политикой журнала связывается представление об «улыбательной сатире». Мишенью этой сатиры становятся скорее нравы, нежели вкусы. «Всякая Всячина» восклицает: «К чему служат законы, когда нравы испорчены?» и при этом признается, что надпись эта красуется на книжке, купленной ею на Спасском мосту (*из*

вестное в Москве место торговли лубочными картинками и книгами — К. Б.). Попытка исправления нравов связана как с просветительскими принципами вообще, так и с особенностями воспитания и образования самой государыни: «она не любила ничего грустного, чувствительного и претендующего на остроумие...», — писал австрийский аристократ на русской службе принц Ш.-Ж. де Линь, — «не любила и не знала новейшей литературы. Она обладала более логикой, чем риторикой. ...В ее слоге больше ясности, чем легкости... оттенки, прелесть мелких подробностей, живость слога были чужды ей».

В «письмах» читателей и «ответах» издателя — формах, избранных в качестве литературного приема организаторами журнала — содержатся суждения и оценки, относящиеся к эстетической программе издания, современным ему общественным нравам. Театральные впечатления, например, представлены в отклике анонимной «читательницы» на пьесу Г. Колле «Тесть и зять» (№15; *здесь и далее в скобках указаны номера выпусков журнала — К. Б.*), изобилующую ненатуральными театральными эффектами и преувеличениями, вместе с замечанием: «критика легка, но искусство не легко; ...при теперешнем положении наук у нас... гораздо нужнее поощрение, нежели строгая критика. Но вообще, чем более будет переводов и сочинений, тем более будем иметь надежды получить со временем лучшие, а может быть и совершеннейшие».

Неудивительно, что, по отзывам современников, из драматических жанров Екатерина больше любила комедию, чем трагедию. Более по вкусу ей были буффонада и фарс.

Из немногочисленных литературно-критических отзывов во «Всякой всячине» заслуживают внимания защита пьес В. И. Лукина от нападок современников; насмешки над «Тилемахидой» и «Аргенидой» В. К. Тредиаковского, который поистине здесь играет роль «мальчика для битья» («ложася спать, чтоб изволила прочесть рядом шесть страниц нашего сочинения, а потом шесть страниц Тилемахиды, и крепко надеемся, что сим способом уже она не услышит храпления своего супру-

га», — советует «Всякая Всячина» «читательнице» Авдотье Хрипухиной; «впрочем мы спорить не будем, что стихи Аргениды одни могут служить к таковому же употреблению, но вместе с Тилемахидою они произведут терзание жил, потяготу, тягость и отвращение ото всего»; «если скучна Тилемахида, то этому можно помочь, читая вышедшие из перевода книги древней и римской истории»). Необходимо иметь в виду, что простой слог «Всякой Всячины» противопоставляется неясному изложению «Тилемахиды» еще и в борьбе за новый литературный язык; как знак ухода в прошлое норм классицизма, и потому это противопоставление отдано «читателю» — защитнику высокой литературы, критикующему «нововведения». «Всякая Всячина, соединенная с вещами себе подобными, произведет к чтению жадность», — уверены в своей правоте издатели журнала. И как подтверждение этих слов, «читатель» Чертухин хвалит «Всякую Всячину» за то, что хорошо пишет, и хулит за то, что редко (№17). Мы встречаем здесь похвалы М. В. Ломоносову, А. П. Сумарокову («бред мой состоит в том, что браню худых сочинителей... на примере „Зятя и Тестя“ и „Разумного Вертопраха“ и тому подобных, исключая славных „Синава“, „Хорева“ и прочих, которые ясно показывают великость духа сочинительства»; «...стал знать вкус во книгах и больше любил читать хороших стихотворцев... покойного Ломоносова и господина Сумарокова, как первых российского Парнаса светильников» (№26).

Излишне говорить, что стиль журнала ироничен, но при этом еще — что редко встречается — самоироничен: один из «корреспондентов», камчадал Аришлай Шуши, хранит выпуски «Всякой Всячины» в двух ящиках — в одном «с остротою», во втором «без остроты, следовательно, ничего не значащие». Он надеется, что автор наполнит оба ящика наравне, ибо иначе шкаф его, наклоняясь на одну сторону, непременно упадет (№12). «В Аглинском смотрителе, — продолжает эту метафору журнал, — очень немало соли, а Всякая Всячина на него походит, так для чего же не быть и в ней чему полезному для

общества?» Зависимость екатерининского журнала от издания Аддисона и Стиля замечена давно, но ее не скрывали и сами издатели. Резкая, серьезная общественная сатира, с политическим и социальным оттенком, вызывала у царственной писательницы раздражение: так, «геротрагическую» поэму, присланную в редакцию (№40) не печатают из-за «меланхоличности». При этом Екатерина умела подчинять свои личные пристрастия тому, что считала полезным и необходимым — так, она научилась тому, что не следует отделять искусство образовывать людей от искусства ими управлять: «всем известно, какой вред от того происходит, когда вместо знающего человека употребляют дурака, а еще более, выученного глупца. Он думает, что все то делать можно, что написано в Дон Кишоте».

Так, зачастую мимоходом, «Всякая Всячина» дает важные эстетические оценки. «Всякая Всячина» мало пишет о литературе еще и потому, что в какой-то мере сама создает эту новую литературу, и является «бабушкой» многочисленных «внучат» — сатирических журналов, с которыми пытается жить в согласии («любезный внучок «Ни То ни Сё» (№26). То, что разразилась буря в полемике с «Трутнем», было явной неожиданностью и досадным происшествием для нее (этой важной и сложной темы не будем касаться в кратком очерке). В целом литературные вкусы журнала традиционны, темы в основном не выходят за рамки обыденности, а стиль повествования остается легким. Нам представляется важным актуализировать изучение «Всякой Всячины» еще и потому, что в любом случае выход в свет этого издания был необыкновенным событием в истории русской культуры: ни при Елизавете Петровне, ни при Павле Петровиче, ни даже при воспитанике просвещенной бабушки Александре Павловиче невозможно представить подобного. Кроме того, русские «писатели на троне» были обыкновенно тиранами, а Екатерина вполне реализовала в своем творчестве и в этом журнале в частности некоторые тезисы автоэпитафии: «снисходительная, любившая непринужденность в жизни, веселая от природы, с добрым сердцем —

она имела друзей. В обществе и словесных науках она находила удовольствие».

ОДИНОКИЙ ВОИН. НАУМ ПЕРЕФЕРКОВИЧ

Российская лингвистика в конце XIX — начале XX вв. переживала взлет, и в любой области науки о языке можно назвать множество имен первоклассных ученых. Не исключение и гебраистика — отдел востоковедения, занимающийся древнееврейским языком, созданными на нем письменными памятниками и — шире — многими аспектами еврейской культуры. Но даже на этом ярком фоне фигура Наума Переферковича (1871—1940) выделяется масштабом и своеобразием: лингвист, историк еврейских языков, переводчик, литературный критик, он стал автором первого и до сих пор непревзойденного перевода Талмуда на русский язык, оставил работы по еврейской истории, теории перевода и по русскому языкознанию. Исследователь-одиночка, он не принадлежал ни к школам, ни к партиям, не имел ни учителей, ни учеников; по словам его внука, тоже Наума Переферковича, живущего в Израиле, архив ученого не сохранился. По этим, а отчасти и другим причинам до сих пор нет монографии о его жизни и деятельности, а библиография работ о нем скудна¹.

Уже обстоятельства рождения выделяли Переферковича из среды его поколения: родившийся в Ставрополе, в семье кан-

¹ Ковальчук С. Н. Религиозно-философские искания профессора Н. А. Переферковича. Евреи в меняющемся мире. Вып. 5. Рига, 2005. С. 51—62; Ковальчук С. Н. Евреи на русских университетских курсах в Риге. Из истории высшей школы в довоенной Латвии (1921—1937). Евреи в меняющемся мире. Рига, 2002. С. 146—158; Львов А. Л. Талмуд Переферковича: автор, читатели, текст. Народ Книги в мире книг. 2004. №49. С. 2—8; Schedrin, Vassili / «No More Cries!»: Reform Jewish Congregation of St. Petersburg in the 1900-s.//JEWISH HERITAGE SOCIETY. URL: <http://>



Н. А. Переферкович

тониста (бывшего николаевского солдата, прошедшего суровую школу муштры с 12-летнего возраста и в награду получившего право жить вне черты оседлости), он не знал многих ограничений, сопровождавших евреев Российской империи в ту пору. Одаренный особым талантом, он окончил с медалью гимназию и единственный в семье получил университетское образование. Alma mater Наума Переферковича — восточный факультет Петербургского университета, который он окончил с отличием и получил медаль за магистерскую диссертацию «Свод талмудических сведений о гностических сектах».

При окончании университета Н. А. Переферкович также получил академическую степень по русскому языку и право преподавания этого языка в гимназиях. По семитским языкам он усовершенствовался несколько семестров в Берлине. Кроме того, молодой ученый имел права раввина. Университетскую карьеру ему сделать не удалось, но он развил в качестве частного ученого в Петербурге интенсивную научную и литературную деятель-

ность: преподавал «закон еврейской веры» в немецкоязычных школах, сотрудничал в русско-еврейской прессе, главным образом в журнале «Восход» — еврейском журнале на русском языке, издававшемся в Петербурге в 1881–1906 гг.

Под псевдонимом «Н. Абрамов» Н. А. Переферкович издал учебник русского языка «Дар слова»¹, первый в истории «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений»² и «Полный словарь русских рифм (Русский рифмовник)»³. Перед революцией Н. А. Переферкович читал лекции на Курсах востоковедения. В 1918 г. работал в Наркомате иностранных дел, был переводчиком на мирных переговорах в Бресте, затем некоторое время преподавал в вузах. В последний период своей деятельности ученый жил и работал в независимой Латвии, в Риге, где преподавал в школах, читал лекции в Русском институте университетских знаний («Среди преподавателей этого русского учебного заведения было много известных ученых... Историю религий читал профессор Переферкович»). Из воспоминаний сына Переферковича, Авраама, следует, что «обстановка в послевоенной Латвии оказалась неблагоприятной для научной деятельности Переферковича. Большая личная библиотека, созданная в Петербурге многолетними стараниями, была утеряна. Латвийский университет не нуждался в услугах еврейского ученого. В отличие от Петербурга, в Риге не было частных издателей, заинтересованных в его научных изысканиях. Переферковичу была предложена работа в библиотеке американского конгресса в Вашингтоне, однако жена решительно возражала против эмиграции в США. Его занятием стало пре-

¹ Абрамов Н. Дар слова. Вып. 1–16. СПб., 1900–1913.

² Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. СПб., 1900; 7-е изд., стереотип. Москва: Русские словари, 1999.

³ Абрамов Н. Полный словарь русских рифм (Русский рифмовник). СПб., 1912; 6-е изд. Нью-Йорк: Slovo-Word, 1996.

подавание основ иудаизма в светских еврейских и нееврейских школах, со скромной зарплатой. Помимо этого он сотрудничал в газетах, читал лекции, писал научные труды»¹

Занявшись филологией языка идиш, Переферкович участвовал в составлении «Хрестоматии средневекового идиш в ре-спонсах», написал исследование «Возникновение языка идиш», которое было частично опубликовано в журнале «Ха-Тхие» (Рига, 1921, №4–5), и составил словарь «Гebraизмы в идише»². В последние годы, будучи пенсионером, Н. А. Переферкович работал над историей магических верований и религий, составленной с точки зрения позитивизма. Работа писалась на немецком языке. К Науму Переферковичу, как мало к кому из исследователей, применима эпикурейская формула «живи незаметно»: он счастливо избежал репрессий большевиков, не поступившись ни свободой, ни научными интересами и занятиями. Кончина его прошла незамеченной на фоне стремительных событий установления советской власти в Риге, и всего год он не дожил до нацистской оккупации и трагедии Холокоста в Латвии. Переферкович похоронен на рижском еврейском кладбище Шмерли. Его семья чудом спаслась и позже оказалась в Палестине.

Главным делом всей жизни Н. А. Переферковича стали критические переводы на русский язык памятников еврейской мысли: *Мишны* — составленного таннаими (законоучителями I–II вв. н. э.) и являющегося древнейшей частью Талмуда собрания Устного Закона, по традиции считающегося дополнением к Письменному Закону; *Тосефты* — сборника таннаических учений, составленно-

¹ Письмо Авраама Переферковича в редакцию «Российской еврейской энциклопедии». Кфар-Саба (Израиль), 22. 09. 1996; Письмо Авраама Переферковича Светлане Ковальчук. Кфар-Саба (Израиль), 04. 03. 2004.

² Переферкович Н. А. Гебраизмы в идише. Рига, 1929. 2-е изд., 1931.

го в структурном и смысловом соответствии с корпусом Мишны и содержащего развернутые пояснения и дополнения к ней; галахического мидраша *Мехилта* (первый перевод на европейский язык), толкующего книгу Исход, и *Сифра*, толкующего книгу Левит; первого трактата Вавилонского Талмуда *Брахот*. Тексты сопровождались дополнительными сведениями из еврейской религиозной жизни, диаграммами и археологическими очерками. Переводы, вышедшие в свет в 1897–1911 гг. в Петербурге двумя изданиями, были, как отмечал рецензент Л. Каценельсон¹, ещё одной попыткой борьбы с антисемитизмом: Талмуд был источником разного рода обвинений евреев именно из-за того, что написан на недоступном языке, и его перевод мог стать поводом для снятия многих обвинений, базирующихся на ложных ссылках на Талмуд. Не следует забывать, что взгляды Переферковича на иудаизм и еврейские тексты во многом определялись его принадлежностью к русско-еврейской интеллигенции — наследнице немецкого Просвещения. В своих поисках новых оснований еврейской жизни и того места, которое должна занимать в этой жизни религия, Переферкович, как и многие его современники, был одиночкой.

Сами переводы оформлены как научные издания, и в предисловиях к ним ничего не говорится о возможности использования их в религиозных целях. Однако такую возможность Переферкович, видимо, предполагал, указывая, что имел в виду «познакомить учащихся с мыслями», но не столько «со словами» важнейших еврейских книг. Свой труд автор адресовал нескольким группам читателей: людям, начинающим серьезное изучение Талмуда; «народу», которому из религиозных побуждений важно изучить Талмуд, но времени и знания языков для этого недостаточно; людям нерелигиозным или недостаточно

¹ Каценельсон Л. И. Первый почин. Н. А. Переферкович. Талмуд, его история и содержание, часть I. Мишна (Санкт-Петербург, 1897 г.). *Восход*. 1898. №5. С. 18–28.

религиозным для того, чтобы потратить время на изучение оригинала или перевода близкого к нему, но желающим познакомиться с содержанием произведения.

Любой перевод выделяет в тексте «главное» и вынужденно пренебрегает «второстепенным». И в этом отношении не так уж важно, что именно считают переводчики «главным»: логику мысли или игру слов. В любом случае читателю предъявляется уже готовое осмысление текста. И в том случае, когда перевод передает логику мысли, восприятие переводчика выделяется сильнее. В этом, несомненно, и есть основная отличительная черта перевода Переферковича. Другой его отличительной чертой можно считать большое количество непереуведенных еврейских терминов. Наряду с ними переводчиком используются имена и названия из Синодального перевода Библии, что приводит отчасти к восприятию этого перевода евреями как «нееврейского» и, следовательно, по их мнению, непригодного к использованию в иудаизме. Вообще говоря, Талмуд в переводе Н. А. Переферковича сегодня мы могли бы назвать «адаптированным» под западную культуру и разнообразных читателей. Автор перевода никак не комментирует язык Мишны, ее лингвистические особенности, что, по-видимому, объясняется избранным им подходом: передавать «мысли», а не «слова».

Существует и авторская критика перевода — в статье «Талмуд. Мишна и Тосефта. Критический перевод Н. Переферковича»¹, в которой переводчик повествует о работе в целом, её содержании, «трудностях перевода» и о творческих планах на будущее. В седьмом томе Н. А. Переферкович намеревался сделать алфавитный указатель всех — переведенных или транскрибированных терминов, использованных во всех предшествующих томах. Ещё одним указателем, необходимым переводу, Н. А. Переферкович

¹ Переферкович Н. А. Талмуд. Мишна и Тосефта. Критический перевод Н. Переферковича. Том VI (кн. 11 и 12). *Книжки Восхода*. 1904. №11. С. 167–176.

называет указатель библейских (ветхозаветных) цитат. Ученый считает его важным для прояснения некоторых моментов, которые талмудисты трактовали согласно своему (а не библейскому) времени и пониманию; ряд мест в тексте был талмудистам ближе и понятнее, чем современному ученому–исследователю, в силу того, что условия жизни талмудистов были ближе к библейским. И наконец, Переферкович считает необходимым указатель новозаветных цитат, употребленных в Талмуде. Указатель должен был открыть и объяснить, какие вещи в Новом завете имеют талмудические корни, и какие реалии еврейской жизни Новый завет описывает неверно. Остановившись в своем переводе на Мишне и Тосефте, Переферкович подчеркивал, что Талмуд требует последовательного изучения: только после Мишны, Тосефты и мидрашей стоит переходить к Гемаре — своду дискуссий по поводу текста Мишны. Иными словами, Гемару Н. А. Переферкович называл комментарием к тексту, текстом же считал Мишну и Тосефту.

Сделанного Наумом Переферковичем в одиночку достаточно, чтобы считать его вклад в Jewish Studies уникальным. Его многообразное творческое наследие ждет своего монографического исследования.

ПИСАТЕЛЬ И УЧЕНЫЕ-ГУМАНИТАРИИ. ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН

Придя в литературу из «ученого» цеха, Евгений Германович Водолазкин, с одной стороны, продолжает активно работать в науке, с другой — находит в разнообразных формах научной деятельности и типажах из научного сообщества художественный материал. Это нетривиальный случай: если физики, инженеры, врачи становились героями литературных произведений довольно часто, то историков или филологов русская литература не баловала своим вниманием. Добавим, что об ученых, как правило, писали те, кто наблюдал их только со стороны, а здесь мы имеем дело со взглядом «изнутри». Так что вполне понятно — Е. Г. Водолазкин любит гуманитариев и охотно изображает

их — и в романах, и в эссе. Можно сказать, что почти в каждом произведении писателя появляется в том или ином виде персонаж, причастный гуманитарному знанию, и часто это ученый по роду занятий. Граница между художественными и мемуарно-публицистическими образами не является непроницаемой, и зачастую одни являются предшественниками других и наоборот. В массиве текстов автора эти образы выстраиваются в некоторой сюжетно-композиционной и жанрово-стилистической иерархии, которая и является предметом внимания в очерке. Необходимо отметить, что здесь рассматриваются лишь некоторые из релевантных образов.

В своих интервью Е. Водолазкин не раз отмечал, что образы в его романах не автобиографичны, например: «в романе [„Лавр“ — К. Б.] мелькает молодой историк, человек нерешительный, с его несбывшейся любовью к русской немке — так вот, это не я. Моя жена, по совпадению, тоже — русская немка, но я, в отличие от героя, в свое время проявил настойчивость»¹. Отметим попутно, что писатель неоднократно подчеркивал и неавтобиографичность Соловьева из романа «Соловьев и Ларионов». В самом деле, многое в историке Строеве отдаляет его от создателя: другое поколение, иная, хотя и близкая, специальность и упомянутая выше нерешительность. Но вот что интересно: Строев живет и работает в Петербурге (во время описываемых событий — Ленинграде), занимается Древней Русью, а главное для него в той эпохе заключается в том, что «средневековые историки не были похожи на нынешних. Для объяснения исторических событий они всегда искали нравственные причины. А непосредственной связи между событиями как бы не замечали. Или не придавали ей большого значения»². Иными словами, автор дарит герою некоторые свои любимые мысли. Мы увидим это в дальнейшем и на примере Соловьева. Более того, ряд при-

¹ Е. Водолазкин. О «Лавре» // Дом и остров, или Инструмент языка, Москва, 2017. С. 344.

знаков сближает Строева и Арсения: действие вставной новеллы о нем разворачивается во Пскове — городе, ставшем для Арсения местом подвижнического пути. Но Строев и Арсений связываются не напрямую, а опосредованно, через Александру Мюллер, которая читала о средневековом юродивом и думала о нем («Она представляла у этих камней древнего юродивого и не могла себе ответить, действительно ли верит тому, что о нем читала. А был ли, вообще говоря, юродивый? А была ли, спрашивается, его любовь? И если была, то во что же она превратилась за сотни ушедших лет?» [с. 236]). Строев при этом ничего об Арсении не знает и интереса к нему не выражает. Как и у Арсения, встреча Строева с молодой женщиной, с которой он мог бы обрести счастье, ничем не заканчивается. Причины отказа у Строева и Арсения разные: в одном случае это настоящая любовь, которая «может ждать хоть целую жизнь» [с. 241] (как говорит во внутреннем монологе Строева сосед-скрипач Пархоменко), а в другом — «отсутствие внутреннего огня» [с. 241].

Строев — фигура сложная, и, на наш взгляд, она является одной из ключевых в романе, несмотря на отстраненность от основной линии повествования. Одна из функций этого образа — предостережение от грозящей человеку (в частном случае — гуманитария, предпочитающему воображение действию) опасности не осуществиться, боязни принятия решений, которые могут лишить человека дальнейшего выбора. Признание его поездки пустой тратой времени звучит не только в суровом выводе соседа-скрипача, но и еще дважды повторяется в тексте: имевшим видение о Строеве Амброджо Флеккиа и прослушавшим рассказ итальянца купцом Ферапонтом.

Строев — это образ-контраст, образ-антипод главного героя романа, и в то же время самого автора, в своей равноудаленности от них. Это фигура возвышенная, что проявляется и в его ре-

² Е. Водолазкин. Лавр. Москва, 2014. С. 237. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страницы в скобках.

чевой характеристике («мне хорошо с ними обоими, сказал Строев в сердце своем, потому что в них обоих я чувствую нечто родственное» [с. 236]). Вложенная автором в мысли героя фраза «сказал в сердце своем» — не что иное, как древнерусский библеизм, калька с древнееврейского, верный признак высокого стиля. В то же время этот образ не лишен трагизма («почему я (думал Строев) тоскую заранее, предопределяя события и обгоняя время? И как это я всегда знаю наперед, что буду тосковать? Что же рождает во мне это щемящее чувство?» [с. 237]).

Есть в романе и alter ego писателя — повествователь, наделенный свойствами историка–медиевиста («повествователь имеет два лица — подсказывает Водолазкин, — средневековое и современное»), а именно: пристрастием к точным датировкам: «это произошло 8 мая 6948 года от Сотворения мира, 1440-го от Рождества [...] Иисуса Христа, в день памяти Арсения Великого»; умением характеризовать ушедшую эпоху как бы с высоты птичьего полета: «предполагают, что слово врач происходит от слова „врати“ — заговаривать [...] Ввиду ограниченного набора медикаментов роль слова в Средневековье была значительнее, чем сейчас» [с. 7–8]; склонностью к биографизму: «особенность человека, о котором идет речь, состояла в том, что он говорил очень мало [...] Судя по его немногочисленным высказываниям, он не собирался пребывать в теле вечно [...] Подобного рода вещи как-то не соответствуют тому, что мы о нем знаем» [с. 8–10]; навыками источниковеда: «говорили, что он обладал эликсиром бессмертия. Время от времени высказывается даже мысль, что даровавший исцеления не мог умереть, как все прочие. Такое мнение основано на том, что тело его после смерти не имело следов тления» [с. 9].

Пристальное внимание, которое и ученый, и писатель Водолазкин проявляет к древнерусским юродивым, не обходится без образа ученого-юродивого — академика Темрюковича из «Соловьева и Ларионова». От взгляда писателя не ускользают странные, нелепые, а порой отталкивающие стороны жизни научного

сообщества, и такая фигура высвечивает их более ярко. В генезисе образа Темрюковича слились по крайней мере три источника: филолог-академик Ф. (эссе «Мало приятного»), «пушкинодомец» Л. — любитель кино (эссе «*Omnia mea mecum porto*») и сам корифей литературной науки Борис Эйхенбаум (эссе «Легкое дыхание»). Темрюкович, однако, их суммой не является и ни к одному из них не сводится. Чудаковатый мизантроп Ф. дает Темрюковичу привычку разговаривать с самим собой и две яркие реплики. Но, используя их как строительный материал, писатель расширяет повествование, добавляет красок, усиливает драматургичность.

Раз уж Темрюкович ведет себя странно, выказывая в своем поведении некоторые черты юродства, он закономерно попадает в ситуацию, произошедшую в свое время с «пушкинодомцем» Л.

Романная поэтика в данном случае проявляет себя тем, что и история в Доме кино, и реплика Темрюковича даны в косвенной речи — словами Мурата, который, в числе первых, имел причины недолюбливать академика.

В парадоксальном замечании, брошенном в туалете («Единственное место в институте, где дышится легко»), Темрюкович почти буквально следует за своим великим предшественником. Как известно, Борис Михайлович Эйхенбаум обронил эту фразу в самый разгар кампании по борьбе с космополитизмом в Пушкинском Доме, а Темрюкович разражается ею после разговора с ученым секретарем. До этого, как мы узнаем, у него был конфликт с завхозом, которого академик публично и не без оснований обвинял в мошенничестве. Объемность образа Темрюковича (кстати, имеющего имя-отчество — «Михаил Сергеевич», в отличие от скрывшихся за инициалами прототипов) складывается из его предшествующего научного опыта («усилиями Темрюковича в советское время вышло полное собрание сочинений С. М. Соловьева») и проявляется в коротком разговоре с Соловьевым, в котором старый ученый бескорыстно помогает молодому историку и приводит по памяти точную

ссылку на когда-то виденный им текст, оказывающийся важным в разысканиях Соловьева. В свете этого эпизода и предыдущие странности Темрюковича выглядят иначе, и сама его экстравагантность начинает казаться чем-то сродни поведению «великих стариков», например, академика-египтолога В. В. Струве, звонившего домой и приглашавшего к телефону самого себя, когда он забывал, куда и зачем пошел¹.

Симпатизируя Соловьеву, писатель дарит и ему фрагменты своего жизненного опыта:

«Письма Достоевского из Германии шли сюда всего четыре-пять дней, — не унимался я. — Почему? — Потому что Достоевский был гений, — сказал кто-то из очереди»². «Ср.: «Месяц», — сказал заведующий. — Бывает и дольше. Бывает, вообще не доходит. Соловьев смотрел вверх заведующего и чувствовал кипение своей ненависти. Ненависти и отчаяния. Стрелка настенных часов водила их по кругу. — Письма Достоевского из Германии шли пять дней, — проинформировал собеседника Соловьев. — Достоевский был гений, — возразил заведующий»³.

Добавим, что молодой историк наделен симпатией к котам, в которой не раз признавался сам писатель и которая служит у него чем-то вроде индикатора человеческой зрелости и чуткости (вспомним героев «Хорошего отношения к котам» профессоров Дружинина, Чечулина и Веселовского или «Кунсткамеры в лицах» Юрия Кнорозова и Лидию Нечаеву).

В поэтике некоторых образов можно обнаружить юмористическое начало и приемы клоунады, а сами сцены с их участием напоминают скетч. Таковы Грунский и Байкалова — ведущие керченской конференции «Генерал Ларионов как текст». В основе эпизода с ними — возможно, студенческое воспоминание о встрече в аудитории двух преподавателей, отразившееся в эссе:

¹ Е. Водолазкин. О марксизме в египтологии // Дом и остров... С. 36.

² Е. Водолазкин. Люди на своем месте // Дом и остров... С. 240.

³ Е. Водолазкин. Соловьев и Ларионов... С. 327.

Аза Феодосьевна Папина преподавала историческую грамматику, а Константин Гаврилович Деликатный (естественно) педагогику. Это были опытные и уже немолодые преподаватели, пользовавшиеся уважением коллег и студентов.

Однажды в аудиторию вошел Константин Гаврилович и объявил, что будет заменять Азу Феодосьевну. Это никого не удивило, ведь для исторической грамматики педагогика — вовсе не худшая замена. И повышение педагогического уровня будущих языковедов могло бы, в сущности, только приветствоваться. Но с первой же фразой преподавателя педагогики в аудиторию вошла Аза Феодосьевна. В ее глазах читалась готовность рассказывать об исторической грамматике.

— А я здесь... вас заменяю, — улыбнулся Константин Гаврилович из-за кафедры.

— Вот как? «И почему же?» — спросила Аза Феодосьевна.

Она не улыбалась.

— Потому что вы больны, — ответил Деликатный.

— Как видите, я здорова.

Пожав плечами, Константин Гаврилович издал звук сомнения.

— Я думаю, кто-то из нас должен оказаться рыцарем, — предположила Папина.

Ее взгляд сосредоточился на чем-то за окном.

— Но ведь были и женщины-рыцари. — Деликатный сдвинулся с кафедры что-то невидимое. — Например, Жанна д'Арк.

Аза Феодосьевна смотрела на Константина Гавриловича в упор.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — растерянно сказал Деликатный.

Выходя из аудитории, Папина не проронила ни слова¹.

И хотя житейский (и, соответственно, мемуарный) эпизод не лишен внутреннего драматизма, романная зарисовка представляет собой маленький шедевр, созданный по вполне театральным законам. Здесь и предваряющее мизансцену описание («на сцену стала подниматься грузная женщина с уложенными на голове косами. Поднималась она медленно, тяжело ставя ноги на ступеньки и напоминая Соловьеву его школьную директри-

¹ Е. Водолазкин. Искусство и действительность // Дом и остров... С. 58 —59.

су по прозвищу Вий»¹), и прием ретардации (« — Кто — сопредседатель? — переспросил в микрофон Грунский. — Вы — сопредседатель? А где вы были раньше? [...] — Мне никто не говорил о сопредседателе» [с. 214]), и реплика со стороны (« — Член-корреспондент Байкалова, — Дунино лицо выражало наслаждение. — Фиеста с боем быков» [с. 214]), и кульминация (« — Кто-то из нас должен оказаться рыцарем, Петр Петрович», — сказала Байкалова... Грунский развел руками: Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...» [с. 215]). Заканчивается сценка почти что клоунской пантомимой: «Ноги Байкаловой до пола не доставали. Под тонкой крышкой стола они покачивались бесформенными колбасными изделиями. Ниже под крышкой — и это было также видно из зала — быстро-быстро, словно на финишной прямой, двигались ноги академика. В этом маленьком соревновании он, безусловно, пришел первым» [с. 216]. Реплики героев эссе без изменений встроены в романную мизансцену и играют роль строительного материала наряду с другими средствами.

Интересно, что сам писатель приоткрывает дверь в свою лабораторию, предполагая, что читатель заметит сходство произведений разных жанров.

«Лица, которые так естественно смотрятся в жизни, становясь персонажами романа, начинают робеть. Порой их просто невозможно ввести в повествовательную ткань. И даже будучи в эту ткань введенными, они путаются в ее складках, словно стесняясь своей недовостановленности и как бы избыточности. Иногда меняют имена, потому что автору кажется, что преподаватель, допустим, педагогики, не может в литературном произведении носить фамилию Деликатный»².

На стыке комических и сатирических приемов находятся эпизодические образы из «Соловьева и Ларионова» — аспирант

¹ Е. Водолазкин. Соловьев и Ларионов... С. 214. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страницы в скобках.

² Е. Водолазкин. Искусство и действительность // Дом и остров... С. 59 — 60.

Калюжный («симпатичный малый, лишенный, правда, всякой исследовательской энергии, да, пожалуй, и энергии вообще») и аспирантка Темрюковича Тина Жук, которую «никто не любил». К шаржу, в общем, можно отнести приемы изображения французской исследовательницы жизни генерала Ларионова Амели Дюпон.

Внизу этой пирамиды литературных средств естественным образом оказываются анекдот и образы материально–телесного низа. Преподаватель истории КПСС Геннадий Иванович И., был, конечно, гуманитарием и «как бы олицетворял собой всю партию»¹. «Случай из истории КПСС» произошел с ним в институтском туалете во время перекура, среди коллег и студентов, и дал писателю основу для эссе «Газовый вопрос». Жизнеутверждающее «Перезимуем!» историка используется в дальнейшем в речевой характеристике эпизодического действующего лица в *Соловьеве и Ларионове* — популярного телеведущего Махалова.

Читая и перечитывая Водолазкина, мы убеждаемся, что «жизнь ученого полна опасностей и тревог, в ней есть свои землетрясения и цунами»². Она также может послужить материалом для художественного воплощения в прозе и эссеистике, от почти трагической поэтики до сатиры и анекдота, в широком диапазоне от высокого стиля к низкому. Определяющей чертой Водолазкина–писателя в изображении коллег по цеху и ученых других специальностей можно назвать заинтересованную наблюдательность: писателем движет любовь и сочувствие к людям, понимание их слабостей и нежелание обличать недостатки: среди его героев есть неудачники и эксцентрики, но нет злодеев.

¹ Е. Водолазкин. Газовый вопрос // Дом и остров... С. 53–54.

² Е. Водолазкин. От автора // Дом и остров... С. 10.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Пять лет исполнилось крупнейшему еврейскому музею мира — АНУ. Будучи наследником Музея еврейской диаспоры в Тель-Авиве, он связывает тысячелетнюю историю с актуальными реалиями, не ограничиваясь, как писал один критик, «пыльным собранием артефактов». Музей поистине огромен, но помочь нам объять необъятное любезно согласился один из его гидов, сотрудник музейного архива, уроженец Харькова д-р Константин Бондарь.

Константин, экспозиция музея не случайно начинается «по-еврейски» — с третьего этажа?

Разумеется. Здесь у нас мозаика, каждый элемент которой отражает ту или иную грань современной еврейской идентичности. Что заимствует еврейская культура из окружающего мира, и что привносит в него?

Под нами — на втором этаже — прошлое. Этот этаж — путешествие, и спланирован он как лабиринт. Мы блуждаем по закоулкам истории.

И, наконец, в самом низу рассказывается об основных ценностях иудаизма. Это базис нашего народа, поэтому экспозиция расположена словно в углублении, символизируя корни. Корни, из которых растет дерево (история), ствол которого можно изучать по годовым кольцам — столетие за столетием. А наверху (третий этаж) раскинулась крона, которая постоянно видоизменяется. Все вместе это формирует образ еврейского народа, как живого дерева. С прочными корнями, мощным стволом и одаривающего своими плодами весь мир.

Символический образ. Что ж, следуя вашей дорожной карте, начнем с кроны...

Гости поднимаются на лифте и попадают в жилое пространство. Перед нами восемь еврейских домов — восемь реальных семей — из разных стран, разного уровня соблюдения еврейских традиций и разных цветов кожи.

Так мы пытаемся уйти от навязшего в зубах стереотипа, демонстрируя разные способы быть евреем. Ведь при всей несхожести все эти семьи объединяет еврейская самоидентификация. А представленные монологи иллюстрируют, что значит еврейство для каждого из этих людей. Такой вот, если угодно, большой еврейский дом, в каждую квартиру которого мы можем зайти.

Что такое иудаизм сегодня, во всех своих направлениях? Произрастающих из единого корня, но часто конфликтующих друг с другом? На это мы тоже пытаемся дать ответ. В том числе визуально, недаром, в экспозиции представлены головные уборы разных течений. Образ жизни — это единство духовного и материального, и экспонаты отражают эту гармонию.

Наиболее благодатная тема актуальной экспозиции — это, насколько я понимаю, евреи в мировой культуре?

С одной стороны, да. Например, у нас есть упоминание о Саре Бернар, которую французы в начале XX века называли «самой знаменитой актрисой в истории». Можно увидеть оригинал либретто знаменитой «Вестсайдской истории», написанного евреем Артуром Лорентсом на музыку еврея Леонарда Бернштейна и слова еврея Стивена Сондхайма и поставленного евреем Джеромом Роббинсом, начинавшим карьеру в одном из идишских театров.

Рассказываем о Майе Плисецкой, но параллельно знакомим с Верой Шабшай, пытавшейся в 1920-е основать еврейскую балетную студию в СССР, и Барухе Агадати — создателе израильского национального танца. Проводим параллели, ищем связи между национальным и общемировым, давая посетителям почву для размышлений.

Соломон Михоэлс — это еврейское явление или международное? Кстати, в этом костюме актер выходил на сцену в знаменитой роли Лира в московском ГОСЕТе. Это оригинал, хранившийся у дочери великого артиста, и только в нашем музее он впервые предстал перед публикой.

Рассказываем о рождении театра на иврите, в частности, «Габимы», первым худруком которого был Вахтангов. Здесь же подлинники эскизов Натана Альтмана, который работал и с «Габимой», и в ГОСЕТе, где сменил в качестве художника Марка Шагала.

Здесь история звезды венских и берлинских кабаре Фрица Грюнбаума, окончившего свои дни в Дахау, и фото разных интерпретаций «Скрипача на крыше» — нью-йоркская постановка, японская, актеры, игравшие Тевье и т. п. Тут же вспоминаем об израильском мюзикле «Царь Соломон и сапожник Шломо» — такая комедия положений на мотив «принца и нищего». А рядом — фото традиционного танца «через шнурок», который на ортодоксальной еврейской свадьбе исполняет невеста и отец жениха, и тут же Рина Шахам — танцовщица и хореограф, познакомившая Израиль с модернистским танцем. Смотришь и понимаешь, что это культуры из разных миров, но обе сосуществуют в Израиле, создавая стереоскопический эффект.

Гитара с автографом Джина Симмонса (урожденный Хаим Виц) — одного из основателей группы KISS, родившегося в Израиле и окончившего иешиву в Бруклине. И другая гитара — Леонарда Козна. Скрипка уроженца Шепетовки, ивритского писателя Цви Прейгерзона, отмотавшего шесть лет в ГУЛАГе, и саз, или лютня, братьев аль-Кувейти, музыку которых обожал последний король Ирака Фейсал II.

Зал кино сделан в виде кинотеатра, где демонстрируется не только голливудская классика, о еврейском вкладе в которую можно говорить часами. Здесь, например, можно узнать и о многочисленных еврейских звездах Болливуда, и самой знаменитой актрисе Египта середины прошлого века — Лайле Мурад, отец которой был хазаном в синагоге.

А что стоит в еврейском книжном шкафу АНУ?

Литературный блок выглядит именно как огромный книжный шкаф в прямом смысле этого слова. Но, во-первых, он полупустой (так задумано с тем, чтобы посетитель мог заполнить книжные полки по своему вкусу — в своем воображении, конечно). Во-вторых, лишь несколько представленных авторов принадлежат собственно к еврейской культуре. Хаим-Нахман Бялик, Шолом-Алейхем, Авром Суцкевер. Остальных можно отнести к пограничным явлениям или той или иной национальной литературе — от Франции до США. Франц Кафка и Пауль Целан, Филипп Рот и Имре Кертес, и даже уроженка Киева Ирен Немировски, которую обвиняли в «еврейской самоненависти».

Есть небольшая картинная галерея — не столько еврейского искусства, сколько художников еврейского происхождения. Одесситка, крупнейший мастер ар-деко, первая художница, имевшая персональную выставку в Лувре — Соня Делоне и основатель дадаизма Марсель Янко, скульптор-абстракционист Энтони Каро, мастер деревянных композиций Луиза Невельсон, ну и, конечно, полотна Эль Лисицкого и Хаима Сутина.

Можно сыграть в интерактивную викторину, угадывая на экране принадлежность полотна тому или иному автору.

Интеллектуальное наследие в музее сочетается с повседневной жизнью и тем, что можно назвать еврейским бытом. Например, кухней.

В отделе музыки предлагается не только послушать, но и «увидеть» музыку, надев специальные очки. На виртуальной кухне, оснащенной планшетом и экраном, можно «приготовить» любое блюдо еврейской кухни, будь то европейской или восточной, из цифровых ингредиентов. Наконец, в витрине иудаики прихотливо сочетаются простая пластмассовая кружка для омовения рук и дорогие серебряные подсвечники, знаменитая «лагерная» ханукия из спичек и «кидуш на вынос» — копия в металле картонного стаканчика «кофе на вынос», переосмысленного с еврейских позиций: вместо пятничной трапезы, с ее

благословением вина, мы забираем освященный напиток с собой и выпиваем по дороге, живя в ритме современных скоростей...)

А мы продолжаем углубляться (в прямом смысле) в историю, бродя по музейным лабиринтам.

Ветры истории всегда дуют на политических перекрестках. Здесь у нас борьба концепций, лозунгов, плакатов. Сионисты сражаются с социалистами, ассимиляторы с традиционалистами. Вот стихотворение Эммы Лазарус, высеченное на статуе Свободы (на эту честь претендовали Уолт Уитмен, Генри Лонгфелло и Марк Твен, но победителем вышла Эмма).

Профсоюзы. Женское движение. Самый молодой член Национального зала славы бейсбола Сэнди Коуфакс. А это игра под названием «Чемодан эмигранта». Какие шесть предметов вы возьмете с собой на ПМЖ? Интересный психологический опыт, проясняющий, чем на самом деле дорожит человек.

А сейчас мы в еврейском кафе, вероятно, в Варшаве. Спорим о том, что значит быть евреем. В соседнем «переулке» звучат венгерский, немецкий, польский, литовский и, разумеется, идиш. Постепенно тучи сгущаются, и гость натывается на совершенно удивительный экспонат. Чудом сохранившаяся детская книжка, изданная в Германии в 1936-м. О том, как распознать еврея и успешно с ним бороться. Написано воспитательницей детского сада и ей же проиллюстрировано. Редкого дарования женщина. История Холокоста заиграла по-другому, правда? Одно дело рассуждать об антисемитизме, а другое — увидеть, как он проникает в ткань общества. В АНУ немного упоминаний о Холокосте, мы не конкурируем с Яд Вашем. Но есть практически пустая мемориальная комната с черными стенами, символическими развалинами и самой узнаваемой фотографией ШОА.

В одном из залов вся стена отведена под шаржи на знаменитостей-евреев. Почему именно шаржи, а не портреты? Во-первых, именно шарж позволяет подчеркнуть индивидуальные особенности персонажа, сделать его более объемным. Но еще

важнее показать, что евреям свойственно смеяться над собой. Сколь бы велик ты ни был.

Это, действительно, наша отличительная черта. Но вот мы и добрались до основ...

Именно. На первом этаже рассказываем о цикле еврейского года и цикле еврейской жизни. Рождение, бар-мицва, хупа, приобщение к вечности.

Здесь можно найти переводы Библии на разные языки, поиграть в интерактивные викторины с текстом Танаха и т. д. Здесь же — наша жемчужина — знаменитый Кодекс Сассуна — один из трех древнейших экземпляров Танаха, написанный в начале X века. В мае 2023 года кодекс был приобретен на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 38,1 миллиона долларов и подарен АНУ. В Израиль рукопись прибыла 5 октября того же года, за два дня до вторжения ХАМАС, поэтому не успела пройти музейной подготовки и хранилась в сейфе. Только недавно была смонтирована специальная витрина с укрепленным фундаментом, и книга стала частью экспозиции. Это в прямом смысле наши, еврейские, основы.

Отсюда можно попасть в зал с макетами самых знаменитых синагог мира — от фресок античной синагоги в Дура-Европос и средневековой пражской Альтнойшул — до храма «Бет-Шалом» в Филадельфии, спроектированного самым известным американским архитектором XX века Фрэнком Ллойдом Райтом.

Здесь же — уникальные артефакты, например, оплавленные детали органа Берлинской синагоги, сожженной в ходе Хрустальной ночи, или бархатная вышивка с молитвой за СССР — «оплот мира во всем мире» — из синагоги на улице Архипова в Москве.

Наверное, в конце такого путешествия у каждого возникают свои ассоциации. У тебя какие?

Я вспоминаю галерею семейных портретов, открывающих экспозицию. И шаржи на евреев-знаменитостей по другую сторону зала. Когда посетители проходят определенную точку, то оказываются под перекрестным взглядом рядовых современников и гениев, становясь частью общности под названием «еврейский народ». В этом мне видится глубочайший смысл названия музея АНУ. Ведь все вместе — это и есть Мы...

Беседовал Михаил Гольд

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
СЕМЬЯ	6
РАДИ СЛОВ УТЕШЕНИЯ. Роза Каплан и Наум Трейтман	6
«МНЕ ЗАСТАТЬ В ЭТОМ ВЕКЕ ВЫПАЛО...» (О бабушке – спустя десятилетия)	14
УЧИТЕЛЯ	34
ЧАСТИЦА ВРЕМЕНИ ЕФРОСИНЫ ШИРОКОРАД	34
ПОД ЗНАКОМ СОЛОМОНОВА УНИВЕРСИТЕТА	41
«ПРИЗНАЮСЬ: Я ЖИЛ...» Леонид Фришман	53
ЮБИЛЕИ	62
«КТО ЗНАЕТ ДЯДЮ ИРИНЕЮ?...» Владимир Одоевский ...	62
ХРАНИТЕЛЬ. Всеволод Срезневский	67
ИСКУССТВО БЫТЬ ГУДЗИЕМ	72
СЛОВАРЬ	79
СОБЕСЕДНИК ШЕКСПИРА. Василий Якимов	79
СЛОВО О ЗАБЫТОМ ПИСАТЕЛЕ. Иван Явленский	83
СЛОВО И МУНДИР. Иван Хрущов	94
БИБЛИОТЕКА	105
ПОДВИЖНИК АГИОГРАФИИ. Арсений Кадлубовский	105
ВОПРЕКИ ВРЕМЕНИ. Лев Лившиц	111
БУЛГАКОВ И ХАРЬКОВ. Лидия Яновская	114
ДОСУГИ	121
ГОЛОСА «ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ»	121
ОДИНОКИЙ ВОИН. Наум Переферкович	127
ПИСАТЕЛЬ И УЧЕНЫЕ-ГУМАНИТАРИИ. Евгений Водолазкин	133
ПОСЛЕСЛОВИЕ	142

Константин Бондарь

Я жил любимым делом...
Очерки о мастерах

Дизайнер обложки Константин Бондарь
Фотограф Константин Бондарь

Константин Бондарь — филолог, историк, преподаватель, архивист, экскурсовод. Доктор филологии. Сотрудник АНУ — Музея еврейского народа (Тель-Авив, Израиль).

Сборник очерков о писателях и ученых, деятелях русской, украинской и еврейской культуры; мемуаров о коллегах и наставниках автора, представленных в шести разделах: «Семья», «Учителя», «Юбилеи», «Словарь», «Библиотека», «Досуги».

ISBN 978-5-0069-4394-0



9 785006 943940 >

Rideró

Rideró.ru — издай
книгу бесплатно!